Новый Журнал

138

THE NEW REVIEW



ТНЕ NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942 С 1946 по 1959 редактор М. Карпович С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский

Тридцать девятый год издания

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW MARCH 1980

Quarterly No. 138
2700 Broadway, New York. N. Y. 10025
Subscription Price \$24 — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York. N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От редакции — Освободите Сахарова!
<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию
В. Блинов — Поэтическая реальность Вл. Корвин-Пиотровского 42
<i>И. Чиннов</i> — Стихи 49
Π . Ильинский — О "Мастере и Маргарите" 51
<i>А. Величковский</i> — Стихи 65
<i>И. Елагин</i> — Стихи
А. Опульский — Соперник ли поэту переводчик? 67
С. Парнок — Стихи 86
<i>Н. Резникова</i> — Г. В. Дерюжинский
В. Перелешин — Стихи101
Э. Боброва — Д. И. Кленовский102
воспоминания и документы:
<i>Ю. Карцов</i> — Хроника распада111
<i>Е. Фокскрофт</i> — Встреча с А. Л. Толстой122
В. Зернов — К похишению ген. Кутепова129
<i>Б. Татищев</i> — На рубеже двух миров136
Письма И. Бунина к Зайцеву (публ. А. Звеерса)
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:
А. Солженицын — Коммунизм: у всех на виду — и не понят 176
М. Агурский — Одинокий мыслитель
А. Иванов — Судьба рукописи "Братьев Карамазовых"193
ПАМЯТИ УШЕДШИХ:
<i>Т. Берд</i> — о. Г. Флоровский
<i>Е. Александров</i> — В. С. Федукович214
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:
Список пожертвований "Новому Журналу"216

БИБЛИОГРАФИЯ: С. Войцеховский. Б. Прянишников.
Незримая паутина. В. Завалишин. Серебряный век русской
живописи. Ю. Иваск. И. Чиннов. Антитеза. В. Вейдле. На
память о себе. Т. Берд. А. Пипкорн. Профили веры. И.
Гапанович. Т. Ригби. Совнарком (1917-22). Ю. Иваск. М.
Цветаева. Избранная проза. Б. Нарциссов Валерий Перелешин.
Южный крест
Книги для верующих в России (воззвание)

ОСВОБОДИТЕ А.Д. САХАРОВА!

Когда друг А.Д. Сахарова, гениальный музыкант наШ Мстислав Ростропович устраивает концерт молитвенной музыки за свободу здоровье Андрея Дмитриевича Сахарова говорит Ростропович — "одного из величайших людей в мире", это определение Сахарова не должно восприниматься, как некое преувеличение. Не только на фоне одичалого советского тоталитаризма, но и на фоне духовного одеревенемногих интеллектуалов Запада Андрей Дмитриевич в своей борьбе за свободу человека, за идеи добра, справедливости и права стоит в мире, как некий легендарный русский богатырь вести, почти один одинёшенек.



От другого друга Андрея Дмитриевича, редактора "Хроники", В.Н. Чалидзе наша редакция получила, широко рассылаемое им, его письмо Брежневу. Вот выдержка: "Вы не были великим полководцем — Чехословакия и Афганистан не делают много чести... В народную память вы войдете лишь по тому, как вы обращались с великими людьми вашего поколения... Два великих человека оказались в вашей власти. С одним вы поступили отвратительно, но не худшим образом: оторвали русского писателя от России... Другому вы решили навсегда заткнуть рот: ваши люди приходят к нему и играют револьвером у него на глазах. Но

он улыбается при этом. Вы не заткнете ему рот! Как друг Сахарова, я могу заверить вас: ВЫ НЕ ЗАПУГАЕТЕ ЕГО НИКОГДА! В вашей власти только его тело, вы не убъете его духа, величия которого вам не дано понять. Но народная память не забудет вам и физического убийства Сахарова. Вы знаете, у него больное сердце. Вы знаете, что никакой врач не может поручиться, что он переживет эти издевательства... У вас только один способ не довести дело до рокового конца: ... обеспечьте Сахарову свободу передвижения и безопасность".

Весь культурный (и еще свободный) мир должен требовать от московских гангстеров немедленной полной свободы Андрея Дмитриевича!

Редакция "Нового Журнала".

Я УНЕС РОССИЮ

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

Гл. 2. Россия в Германии

Дружба с Конст. Фединым

С будущим страшноватым генсеком Союза Советских Писателей, потом его председателем, потом лауреатом сталинских премий и депутатом Верховного Совета РСФСР и СССР, с Константином Фединым, я был дружен. И очень. Подружились мы в 1920-х годах в Берлине, но тогда Федин не был ни председателем, ни генсеком, ни лауреатом, ни депутатом. Тогда Федин был "писателем Фединым".

Редактирование "Литературного приложения" к "Накануне" я вспоминаю с удовольствием. И с благодарностью этому "его величества случаю". Оно дало мне возможность познакомиться с многими советскими писателями, приезжавшими в Берлин, а с некоторыми и подружиться (Федин, Груздев). Через них же, по их рассказам, я ощутил и так называемую "советскую действительность". Переписка с Фединым завязалась после моей статьи в "Литературном приложении" о его прозе. Статья, по-моему, была лестная, я писал о ранних его рассказах ("Сад" и другие) и о первых повестях. Как все Серапионы, Федин был тогда свободным писателем. Нет, вернее — полусвободным, как все "попутчики". Совсем свободным захотел стать их ментор Евге-

См. кн. "Н.Ж." 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. Подглавку "Дружба с Конст. Фединым" при печатании в "Н.Ж." я несколько сокращаю. В книге она будет помещена полностью. — $P.\Gamma$.

ний Иванович Замятин, написавший "Мы", но из этого ничего, кроме "легальной высылки" за границу, не вышло. С Замятиным и его женой Людмилой Николаевной и в Берлине, и в Париже я встречался.

Но даже творческая "полусвобода" Серапиона Конст. Федина была так же далека от его позднейших "соцреалистических" (и по сути халтурных) романов, как Полярная звезда от Земли. Да от попутчиков в те нэповские времена и требовалась именно некая "полусвобода", а не соцреализм. Недаром Борис Пильняк (тоже Серапион, хоть и "отдаленный") опубликовал столь вольные вещи, как "Повесть о непогашенной луне" (о том, как Сталин заэфирил на операционном столе командарма Фрунзе) и "Красное дерево", появившееся только в Берлине, в "Петрополисе", а в РСФСР цензурой зарезанное. Но Пильняк как человек и художник был много сильнее Федина. Потому и кончил насильственной смертью.

Вскоре по приезде Федин был у нас в семье. И как-то сразу прижился к нам. Ему понравились и моя мать, и моя жена. Обе отнеслись к нему тепло, сердечно. Надо сказать, во всем облике Федина был "шарм". Хорошего роста, хорошо сложенный, с правильным красивым лицом, умный, иногда остроумный, державшийся свободно, непринужденно, как-то очень по-русски, по-свойски, Конст. Федин был привлекательным человеком.

Немецким языком Федин владел вполне (много лучше меня). Всю войну он провел в Германии как гражданский пленный. Так что переводчик ему был не нужен, но я сразу заметил, что он никуда не любит ходить или ездить один, а всегда "с провожатым". Я ездил с ним охотно уж потому, что Федин интереснейше рассказывал о советской жизни, советских литературных делах, о писателях (не без сплетен, конечно), всякие литературные истории. Многое из его рассказов я тогда записал. И вот — пригодилось.

Помню как-то Федин рассказывал о своей встрече с М. Горьким, и как Горький говорил ему, что их поколение, т.е. Горького, уже сходит со сцены, а потому теперь они — молодые — должны представлять в мире русскую литературу. "И ты знаешь, — говорил Федин, — когда Горький мне это сказал, я почувствовал, какая действительно тяжесть ложится на плечи,

ведь он прав: из старых одни умерли, другие ушли в эмиграцию, третьи перестали писать, и мы оказываемся на линии огня, на переднем фронте". Как во многих писателях, в Федине было всё "литераторское". Другой жизнью, кроме как "быть в литературе", "литераторствовать", Федин, по-моему, и не жил, не умел жить. Поэтому вполне искренне и чувствовал себя тогда "послом русской литературы", как его и принимали немцы.

В 1927-28 г.г. в Берлин приезжали многие Серапионы: К. Федин, Н. Никитин с женой, Илья Груздев с женой, Мих. Слонимский с женой. Со всеми я сошелся, в особенности с Фединым и Груздевым. Как мы впервые встретились с Фединым, — хоть убей не помню. Но перешли на "ты" скоро, как и с Ильей Груздевым и с Колькой Никитиным (почему-то все его звали именно — "Колька", и это "к нему шло"). Быстрой дружбе с Фединым способствовали, конечно, обеды и ужины с возлиянием. Помню, что в первую же встречу мы поехали в КаДеВе (грандиозный универсальный магазин) на Тауэнцинштрассе покупать всякую всячину для него, для его жены Доры Сергеевны, для дочери Ниночки. Накупили, и по дороге оттуда, когда шли по Курфюрстендамм, какой-то уличный фотограф сфотографировал нас и фото до сих пор у меня в архиве.

Для резонанса в мире всякому писателю необходимо, чтоб за ним стояла страна. На советскую литературу в те годы немцы (и все иностранцы) смотрели с ожиданием чего-то нового, революционного, "освежающего старый Беспаспортные, безродные писатели (эмигранты), за которыми зияла географическая пустота, мало кого прельщали. А у советских — страна (да еще какая! загадочная! первая в мире социалистическая!). Для Федина в Берлине все это было важно. Федин тут был не только писателем, но писателем-послом "новой советской" страны и ее литературы. Посему немецкие издатели тогда рвали из рук рукописи и книги советских авторов. Книги Федина по-немецки выходили "Малик Герцфельде которым руководил коммунист (скажу, как минимум, — малоприятный тип).

Должен сказать, что к литературе Серапионов (к К. Федину, Всев. Иванову, Бор. Пильняку, Мих. Зощенко и некоторым другим попутчикам — Олеша, Катаев, Булгаков, Леонов и др.) я

относился тогда с большой надеждой. В своих автобиографиях многие Серапионы бравировали аполитичностью и писали о "надклассовой литературе": они заняты только литературой и конец! Мих. Зощенко так и писал, что даже не знает, "к какой партии принадлежал А.И. Гучков". И когда советский литератор Эм. Миндлин в статье в "Литературном приложении" напал на эту браваду молодых своей аполитичностью, я ответил ему, о чем он и вспоминает в мемуарах "Необыкновенные собеседники" ("Сов. писатель". М. 1968): — "И кто же взялся защищать сов. литературу от меня? Человек, недавно с оружием дравшийся против советской власти, только что наспех сменивший вехи — Роман Гуль, автор нашумевшей в эмиграции книги "Ледяной Поход"... Роману Гулю импонировало 'отсутствие идеалов у молодых'. Роман Гуль так и не вернулся в Россию. В сменовеховцах проходил недолго. Не дольше чем в Берлине выходил орган сменовеховцев "Накануне". Стало быть, по 1924 год!".

моего сменовеховства Миндлин несколько путает. Но верно, что "отсутствие идеалов" у молодых я приветствовал и был, по-моему (исторически), прав. Когда сов. власть предложила молодым писать с "идеалом" — это их, как художников, убило. Леонид Леонов с "идеалом" дошел до леса, "Лес", произведения стопроцентно романа "производственного" "социалистического", но, И читабельного. Мих. Булгаков дошел до Батума, то есть до такой подхалимажной пьесы о Сталине — "Батум", что сам вождь запретил ее постановку, будто бы сказав, — "так обо мнэ пусть пишут послэ смэрти". О рождении писательских "идеалов" в СССР Надежда Мандельштам говорит: "Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев". Но все это стряслось с русской литературой много позднее 20-х годов. В годы же НЭПа писатели были еще в полусвободе.

Запомнил я еще один рассказ Федина о Горьком. Был у него Федин где-то на даче. Сидели в комнате, стеклянные двери которой выходили на веранду и в сад. Горький говорил что-то о литературе. Федин слушал. "Вдруг, — рассказывал Федин, — вижу из сада по ступеням веранды поднимается Мария Федоровна Андреева. Красавица. В легком летнем платье, в руках

букет чудесных цветов. Вошла. Горький прервал разговор, смотрит недружелюбно. А Мария Федоровна с улыбкой кладет букет перед Горьким. Горький крайне резко и грубо: — "Это еще что!?" — "Цветы. Тебе", — улыбаясь, говорит Мария Федоровна. И вдруг Горький раздраженно сбрасывает букет: — "Жри сама!"

Федин рассказывал, что от смушенья в эту минуту готов был провалиться в тартарары. Но М.Ф. — опытная актриса выучки МХТ — подняла букет и без слов вышла. Горький же как ни в чем не бывало продолжал "разговор о литературе". Известно, что Горький был отзывчив, многим помогал, многих выручал, вступился даже за судьбу великих князей Романовых, хлопоча за них перед самим Лениным (но Ленин его обманул). Был Горький и чувствителен и слезлив, мог плакать, когда писатели читали понравившуюся ему рукопись. Но сложен человек: был Горький и неправдив, лицемерен и вот даже, оказывается, мог быть груб, как босяк. Федин говорил, что Горького тут вероятно раздражил тот "театр для себя", который молчаливо разыграла перед ними актриса М.Ф. Андреева. Возможно.

В Берлине Федин жил в пансионе, где-то около Курфюрстендамм. Не так далеко от нас, и мы виделись часто. Помню, звонит он по телефону и говорит, что приглашен выступить на вечере немецких пролетарских писателей (т.е. писателей-коммунистов, наверное?), что ему звонил Герцфельде и очень просил приехать. Федин же мне говорит: — "Роман, пожалуйста, приезжай ко мне и мы вместе поедем". Я возражаю: — "Костя, да причем же тут я? Я не пролетарский и не советский, с какой же стати я поеду, ведь это же неудобно, пойми!" Но Федин — как с ножом к горлу: "Ради Бога, приезжай, один я просто не могу. Там это будет недолго. Я скажу несколько слов, может быть, прочту что-нибудь, и мы быстро уедем". Я видел, что Федину на это собрание ехать до смерти не хочется, а без провожатого особенно. И в конце концов он меня уломал. Поехали.

Было это собрание "пролетарских" немецких писателей чрезвычайно непрезентабельно. Небольшой залишко, когда мы вошли — сидят-ждут человек 20-30. Председательствовал Герцфельде. Он представил Федина, как выдающегося писателя Сов. России, наговорил ему комплиментов, указал, какие книги

Федина вышли по-немецки. После него слово было предоставлено Федину. Федин приветствовал собравшихся довольно коротко и банально, сказав, что советская литература развивается, находит новые сюжеты, новую форму и т.п. Потом кто-то из присутствующих прочел какую-то вещь Федина в немецком переводе. Все было скучно до одурения. И когда, выйдя на улицу, мы остались одни, Федин с презрением сказал: — "Ну ты видел этих "пролетарских" писателей? Это же какие-то вычески общества" (эти "вычески общества" я запомнил буквально).

Вторая поездка с Фединым была много интереснее. Федин опять позвонил как-то и говорит, что Герцфельде приглашает к нему на виллу на обед, у него будет Макс Гёльц (известный немецкий коммунистический Стенька Разин) и Эрнст Толлер, известный писатель. И опять Федин пристал, чтоб я с ним ехал. На этот раз я отказывался еще категоричнее, ибо понимал мою там неуместность, причем говорил Федину, что Герцфельде мне крайне несимпатичен и я вижу, что пользуюсь у него "полной взаимностью". Но Федин насел невероятно, говорит, что один ни за что не поедет, а не ехать ему нельзя (Малик его издательство). Я еще яснее видел, что в характере Федина была какая-то потребность в вечной подпорке, в каком-то "провожатом". Во мне этого никак не было. Я бы на его месте поехал один. Но Федин пристал так, что наконец моя жена и мать его поддержали: "Ну согласись, Рома, ты же видишь, как ему одному не хочется". И я — contre coeur — согласился. Конечно, увидеть живьем легендарного Макса Гёльца было небезынтересно. Но уж очень Герцфельде был мне "против шерсти".

Одним словом — поехали на виллу Герцфельде куда-то далеко, м.б. в Далем, не помню уж. Ну, приехали. Вошли. Толлера нет, обещал быть позднее. Но мы сразу увидели легендарного. Своей наружностью Макс Гёльц меня поразил — ничего немецкого. Цыган. Низкий, коренастый, жгучий брюнет, с тонкими чертами лица, в повадках что-то физически сильное, подлинно пролетарское. Федина Гёльц заключил сразу в товарищеские объятия (как представителя "той страны, где светит незакатное солнце трудящихся"). По сторонам Гёльца — две чрезвычайно миловидные, даже красивые девицы, типичные немки, и почему-то в каких-то белых не то туниках, не то

хитонах. За обильным — едой, закусками, напитками — столом девушки сели по сторонам легендарного. Мы — напротив. Обед прошел довольно пусто, говорились какие-то банальности. Федин спрашивал, конечно, Макса Гёльца, когда же он приедет в Советскую Россию? Тот отвечал, что скоро собирается и будет счастлив побывать в стране трудящихся. Должен сказать, что Макс Гёльц, чью авантюрно-разбойничью биографию я знал так же, как все читающие газеты, мне понравился. Что-то вроде "пролетарского Котовского". В разговоре — большая непосредственность, искренность, даже какая-то детскость, если хотите. Это не какой-то там "партийный спекулянт" Герцфельде. Гёльц — человек из народа, с своими бредовыми разбойноанархо-коммунистическими идеями, причем, по-моему, гораздо больше "анархо", чем "коммуно". Сарынь на кичку! Бунтарь. Сорви голова. Подлинный desperado! За столом он был весел, смеялся, выпивал, позднее он действительно уехал в Советский Союз, но зачем? Да только затем, чтобы его советские чекисты утопили где-то в Волге. Они-то сразу поняли, что Макс не их поля ягода, что это бакунинский человечина, "в сладости разрушенья есть творческое наслажденье". Вот Бакунину Макс подошел бы, но не Сталину же? Для Сталина такие люди были опасны, ибо по своей натуре никакой "обработке" поддаваться не могли. Сталин его и утопил в Волге, причем в газетах было сообщено о несчастном случае с товарищем Максом Гёльцом: утонул, купаясь в реке ("как тонут маленькие дети"). Некрологи, конечно, были казенно-восхвалительные.

Когда мы вышли из виллы Герцфельде, к ней подкатил автомобиль с Эрнстом Толлером. Толлер выскочил из машины, бросившись к Федину, и, встретясь впервые, они заключили тоже друг друга в братские объятия. Толлер извинялся, сожалел, что не мог приехать раньше и т.п., Федин тоже сожалел, вообще все вежливости были соблюдены. И мы тронулись в своей машине домой. Эрнст Толлер ничего для меня интересного не представлял, таких левых интеллектуалов я встречал десятки. Высокий, худой, с длинными волосами, типичный интеллигентеврей. Красочного — ничего. Это не Макс Гёльц.

В машине мы обменивались с Фединым впечатлениями. Федин не был так жаден до людей, как я. Меня всегда интересо-

вал и интересует каждый человек и вовсе не для какой-то "литературы", а как некое, впервые увиденное существо. И всегда желание — понять это человеко-явление для себя, а вовсе не для того, чтобы "взять в какое-то произведение". Федин же наоборот — "был он только литератор модный". Когда я заговорил о "явлении" Макса Гельца, он поддакивал без интереса, а когда я сказал — "А эти девушки в каких-то белых хитонах, просто очаровательны..." — он посмотрел на меня с явным соболезнованием, сказав: — "А ты понимаешь, что это за 'очаровательные девушки в хитонах? Они же приставлены к Максу..." — "Как 'приставлены' ?" — "Эх, вы, эмигранты, эмигранты, нехитрый народ, ничего-то вы, Роман, в наших делах не понимаете и никогда не поймете. Я как только глянул на 'этих девушек' сразу все понял... Они же приставлены к этому Максу 'органами'. И неважно, что они спят с ним, это, кстати, тоже входит в их службу, но это не главное, а главная их обязанность прояснить Макса. Ты видишь же, он природный, настоящий разбойник, а разбойник — плохой партиец, потенциально опасен, вот девушки в хитонах его и освещают..."

Признаюсь, слова Федина меня поразили: — "Костя, да ты уверен в этом?" — Федин слегка засмеялся: — "Больше, чем уверен... У нас у всех ведь 'верхнее чутье' есть, какого у тебя и у всех вас тут нет... Я их 'флюиду' сразу почувствовал, у нас ведь тоже много таких 'очаровательных девушек', правда, не в хитонах, но хитоны дела не меняют, и эти 'очаровательницы' могут быть иногда довольно страшны".

Федин был убедителен. "Дда, думал я, интересный 'обед". Дня через два Федин позвонил мне, и мы встретились в какой-то большой пивной. За сосисками и пивом Федин, улыбаясь, сказал: "А знаешь, Роман, ты ведь был прав. Герцфельде на другой день устроил мне невероятный скандал. Как вы, говорит, могли привезти с собой Гуля? Это же эмигрант, белый офицер! Это совсем не наш человек и прочее и т.п." — "Видишь, Костя! И Герцфельде по-своему прав, это твое тасканье меня в качестве 'провожатого' совершенно ни к чему. И в следующий раз я уж не поеду". — "Думаю, что следующего раза уже и не будет..." Но следующие разы, увы, были.

Так, помню, сидели мы с Фединым в большом ультра-

немецком ресторане "Ам Цо", около Зоологического сада. Ужинали. Федин пришел первым, и как только я подошел к столу, он, улыбаясь во все лицо, говорит: "Не удивляйтесь, сэр, сюда попозже, так через часок, придет Илья Ионов, я ему сказал, что буду здесь с тобой ужинать, но он не только не возражал, а сказал, что хочет с тобой познакомиться, он что-то твое читал. Так что вот еще один 'следующий раз'. Но Ионов — мужик подходящий и нужный, он заведующий Госиздатом в Ленинграде, старый большевик, совершенно бездарный поэт, но у него слабость — любит 'вращаться среди писателей'. Выпустил даже книгу своих стихов..."

(Федин назвал заглавие; не помню, не то "Красный Мак", не то "Красный Луч", вообще что-то красное).

Действительно, к концу ужина Илья Ионов (Илья Ионович Бернштейн) пришел. Чем он кончил — не знаю, думаю, Сталин "шлёпнул" его в ежовщину. Таких старых большевиков-евреев Сталин убивал в большом количестве. Невысокий, типичный еврей, довольно приятный, мягкий в общении, ничего особо интересного в разговоре с ним не было, кроме того, что Ионов говорил, как к нему, в его первый приезд в Берлин, приходил И.В. Гессен, редактор издательства "Слово", предлагая приобрести изданные "Словом" книги.

— Эти люди не понимают, — говорил Ионов, — что если мы захотим переиздать что-нибудь заграничное, то возьмем и переиздадим, конвенции нет. Так зачем же нам покупать книги эмигрантских издательств?

Были у меня с Фединым и другие "следующие разы". Ездил я с ним на интервью в "Берлинер Тагеблят" и в другие места. Один Федин ездить никак не любил. Часто Федин рассказывал очень интересные вещи. Так, однажды рассказал, как Михаила Зошенко вызывали в ОГПУ, стараясь завербовать.

— Вызвали повесткой через милицию на десять утра. А Мишка человек нервический, сразу впал в волнение, но, делать нечего, поехал. Принял его какой-то чин чрезвычайно любезно, угощал папиросами, потом в кабинет подали чай с бутербродами, и чин все зондировал почву, чтобы Зощенко согласился осведомлять сие учреждение о заседаниях издательства (уж не помню какого, кажется, "Советский писатель", Р.Г.).

Конечно, все это подавалось в весьма элегантной форме, говорил Федин, — вы же, Михаил Михайлович, наш, советский человек, мы же вам полностью доверяем и т.д.

- Но, Костя, почему же вызвали Зощенко? Ведь уж более неподходящего человека трудно себе представить?
- Подходящий, неподходящий. А им все равно кого вызвать. У них так получилось, что не оказалось осведомителя в этом издательстве, вот они и решили поискать. Проморили они там Мишку несколько часов за всякими разговорами на тему: но ведь вы же наш, советский человек и прочее...

Зощенко, как рассказывал Федин, вертелся и так и сяк, как карась на сковороде, и когда "чины" поняли, что тут вряд ли чтонибудь выйдет путное, с него взяли подписку о неразглашении тайны вызова и содержания разговора и отпустили. "Мишка же, — говорил Федин, — ни о каком неразглашении уж и не думал, прямо оттуда сам не свой ко мне, как сумасшедший влетел, на нем лица не было, он вообще неврастеник, а тут совершенно растерялся, что делать, почему вызвали именно его, и боялся до смерти как бы опять не потянули".

Рассказывал Федин много об Алексее Толстом, с которым дружил. — "Ну и врут тут ваши эмигрантские газеты, пишут будто Алешка как приехал, так и начал загребать миллионы. А на самом деле первые два-три года Толстые еле-еле сводили концы с концами и к нам то Наталья Васильевна (Крандиевская), то ее сын, то сам Толстой прибегали за десятирублевкой, чтобы на базар сходить. Да и травили его всякие РАППы, ведь Маяковский орал, что в РСФСР Толстой не въедет на белом коне своего полного собрания сочинений. Но Толстойто въехал все-таки... только потом, после свидания у Горького с хозяином. Тут Толстой и пошел в гору, а до этого его держали в черном теле, 'выдерживали".

Известно, что Алексей Толстой, перекрасив коня в красную масть, получил целых три сталинских премии и посмертно даже "прозвенил бронзой". Где-то, кажется, на Никитской в Москве ему стоит памятник ("рукотворный"); граф Толстой комфортабельно сидит в большом кресле. Но мало кто знает, что на самом-то деле из слов "граф Алексей Толстой" истине соответствует только "Алексей". Был он и не "граф" и не

"Толстой". О том, что настоящая фамилия Толстого должна быть Бострем упоминает и Бунин в дневнике. Но только в Нью Йорке от Марии Николаевны Толстой, хорошо знавшей семью графа Николая Толстого, я узнал о подлинном происхождении Алексея Толстого.

У графа Николая Толстого были два сына — Александр и Мстислав. В их семье гувернером был некто Бострем, с ним сошлась жена графа и забеременела. Толстой был человек благородный (а м.б. не хотел огласки, скандала) и покрыл любовный грех жены: ребенок родился формально как его сын — Толстой. Но после рождения Алексея Николаевича Толстого его "юридический" отец граф Н. Толстой порвал с женой все отношения. Порвали с ней отношения и сыновья — Александр и Мстислав. Оба они не считали Алексея — ни графом, ни Толстым. Так, ребенок Алексей Толстой и вырос у матери, в Самарской губернии. Но когда граф Николай Толстой скончался, уже взрослый Алешка, как "сын", приехал получить свою часть наследства. И получил. С Мстиславом Толстым я встречался на юге Франции у своих знакомых Каминка, они были соседями по фермам недалеко от городка Монтобана.

Только после рассказа М.Н. Толстой мне стала понятна суть той "биографии" Алексея Толстого, которую он, по настоянию Ященки, дал в "Нов. Русск. Книгу". В этой "биографии" Толстой не сказал решительно ни одного биографического слова о себе. Это были какие-то "философические рассуждения" вокруг да около (не по-толстовски бледные, никчемные). Ященко страшно ругал Толстого за нее. Но теперь мне ясно, что Ященко тоже причин "несуразной биографии" не понимал. Так она и была напечатана в "НРК" в отделе "Писатели о себе".

В литературной карьере знаменитая фамилия, разумеется, очень помогла Алексею Толстому. Если б он эту карьеру начал как Алексей Бострем, было бы много труднее. А тут сразу — знаменитое имя плюс несомненное дарование. Свою знаменитую фамилию во всех случаях жизни Толстой умел подать как надо. Даже в немецком участке.

Помню, как в "НРК" Сандро Кусиков, помирая со смеху, рассказывал о их ночном приключении. Толстой, Есенин, Кусиков и кто-то еще всю ночь пропьянствовали в ночном бер-

линском кабаке. Вывалились поздно на улицу, и по русской привычке начали что-то орать, хохотать, хулиганить столь шумно, что к ним подошел шуцман, сделав замечание о нарушении тишины и спокойствия. Но какие там немецкие "тишина и спокойствие"!? "Славянские души — как степи!" Замечание шуцмана их только подогрело. Но шуцман оказался свирепым законником, и уже гораздо строже предложил пьяным иностранцам следовать за ним в участок для составления протокола. Делать нечего. Пошли. Вперели — Толстой, большой, полный, барственно одетый.

Пришли в участок. За столом — полицейский чин. Шуцман докладывает о правонарушении. Чин молча берет какие-то бланки и макает перо в чернильницу для составления протокола. Первого, ближайшего к нему Толстого спрашивает: — "Ваша фамилия?" — "Толстой" — Чин внимательно посмотрел на Толстого. — "Национальность?" — "Русский". — "Профессия?" - "Писатель". И вдруг чин откладывает перо, встает и, пораженный, любезно улыбаясь, спрашивает: — "Так это вы написали роман "Война и мир"? — "Я!", — отвечает Толстой. — "Как я рад! Как я рад!", — пожимает руку Толстого, оказавшийся любителем литературы полицейский, — "У меня есть все ваши произведения". — "Очень рад, очень рад", — отвечает Толстой. И, сделав знак шуцману, полицейский говорит: — "Не надо протокола..." — А Толстому: — "Очень приятно, герр Толстой, можете идти, и ваши друзья тоже, только, пожалуйста, на улице не шумите... очень, очень рад, что я встретился с вами, герр Толстой..."

Веселая компания во главе с Толстым вывалилась из участка и на улице уж не в состоянии была сдержать хохота от артистического проведения сцены автором "Войны и мира".

Рассказ Кусикова показался Ященке чуть ли не анекдотом, и он решил "допросить" самого Толстого. "Допросил". И тот подтвердил, хохоча своим заразительным барским баритоном. Передавая мне об этом, Ященко говорил: — "У Алешки ведь природное актерство в крови. Помню, до революции ехали мы как-то в поезде по Франции: я, он и его друг художник (к сожалению, я забыл фамилию. Р.Г.). И вот входим в купе — в нем две англичанки и англичанин, по виду чопорные. Ну, мы сели и вдруг

Алешка обращается к своему другу-художнику "по-английски". Конечно, не по-английски, Алешка ни одного английского слова не знает, вообще в языках швах. А тут он заговорил на каком-то внезапно ad hoc избретенном им языке, причем фонетически это было очень похоже на английский. Художник налету понял алешкину игру и как ни в чем не бывало отвечает ему "на том же языке". И вот оба они с совершенно серьезными лицами начали "оживленный разговор" на изобретенном ими языке. Да так ловко, что англичане таращат глаза, не понимая, что это за язык? А "собеседники" (главным образом Алешка!) продолжают игру, иногда хохоча, будто над чем-то сказанным. Я думал, рассказывал Ященко, что умру со смеха. А они так довольно долго проразговаривали, потом расхохотались и перешли на русский. У Алексея чертовы актерские способности..."

Из времен, когда Толстой в СССР уже пошел в гору, Федин как-то рассказал о неприличном, но весьма характерном для Толстого хамском дурачестве. Был у Толстого прием, много народу: писатели с женами, высокие военные с женами, актеры, актрисы, вообще советский бо-монд. Собрались в гостиной, но хозяин почему-то все не выходит. "Наконец, — говорит Федин, — вышел Алешка в прекрасном костюме, надушенный, выбритый, но сквозь ширинку просунут указательный палец. И так, с самым серьезным видом, подходит к дамам, целует ручки и говорит: — 'Василий Андреич Жуковский... Василий Андреич Жуковский'... Одних этот его палец шокировал, ничего не могли понять, 'не оценили', другие смущенно засмеялись, и сам Толстой под конец разразился гомерическим хохотом на всю квартиру и вынул палец из прорванного кармана". -

Рассказ Федина меня не удивил, я знал, что Толстой был способен на дикие и хамские дурачества. За этот "палец" Федин ругал Толстого: — "Понимаешь, в гостиной — уважаемые дамы, актрисы, пожилые женшины, но с Алешки все как с гуся вода... Разразился хохотом и — всему конец, даже не извинился".

Помню, я спросил как-то Федина о гремевшей по всей Советской России пьесе Толстого (и П. Щеголева) "Заговор Императрицы", приносившей ему дикие барыши, но неожиданно снятой. Федин рассказал: — "Этот 'Заговор' я видел несколько раз. Пьеса халтурная, ерундовая, но поставлена была замеча-

тельно, и актеры были заняты изумительные. Особенно Монахов — Распутин. Ты представь, поднимается занавес, на авансцене, у себя в Петербурге — Распутин, один, растрепанный, со сна, босой, в русской рубахе — перед ним посудина с кислой капустой, и он — с похмелья — жрет эту капусту руками. Ни одного слова. Только жрет. Казалось бы ничего особенного, а Монахов с похмелья, молча, так жрал эту капусту, что через две минуты зал разражался неистовыми аплодисментами. Монахов — гениальный актер..."

— Но почему же пьесу внезапно сняли, несмотря на такой успех?

Федин улыбнулся: — "А сняли наверное правильно. У нас ведь наверху люди хитрые, и вот вдруг поняли, что народ-то валит на пьесу вовсе не для того, чтобы смотреть 'Заговор', а для того, чтоб увидеть живую 'Императрицу'. Вот и сняли".

"Ну а песни "Марш Буденного", "Кирпичики" — пели-пели по всей стране и вдруг — кончилось..."

"А это другая статья. И тоже для вас, эмигрантов, непонятная. И "Марш Буденного" и "Кирпичики" умерли потому, что уж очень все их пели, а власти наши не любят, когда нация хоть на чем-нибудь объединяется, пусть даже на песне (буквальные слова Федина. Р.Г.)... К тому же кто-то еще пустил слух, что "Марш Буденного" это просто аранжировка еврейской свадебной песни, что властям тоже неподходяще".

Рассказал Федин как-то о том, как по Москве прошел слух, что Сталин тайно приезжал на могилу Аллилуевой в Новодевичьем монастыре и как там увидели его какие-то монашки и обомлели. И от них по Москве пошли шепоты, что "хозяин"-де приезжал на могилу жены, погибшей при самых странных обстоятельствах: не то он ее застрелил, не то Аллилуева, наговорив ему каких-то отчаянных политических откровенностей — "Ты мучитель! Ты мучишь весь народ!" — застрелилась. Но как только пошли по Москве такие слухи и шепоты, всех этих монашек сразу сграбастали и куда-то упрятали в места не столь отдаленные.

Тут я делаю некоторое отступление. Моя дружба с Б.И. Николаевским продолжалась. Я как раз писал исторический роман об Азефе. Б.И. снабжал меня ценными печатными и даже

рукописными материалами из своего архива и из Парижа через милейшего человека, историка Сергея Григорьевича Сватикова. С Б.И. мы часто виделись. Интересная информация от живых людей из СССР для Б.И. всегда была золотым кладом и рассказы Федина были ему, конечно, интересны, причем Б.И. был так тюремно-подпольно конспиративен, что ему можно было все рассказать: нигде не проговорится, не оговорится, не оступится.

Б.И. состоял тогда членом "Заграничной делегации РСДРП (меньшевиков)". Так назвали себя высланные (а некоторые и отпущенные Лениным с миром) берлинские меньшевики. Лидером и редактором "Социалистического Вестника" (после смерти Мартова) был Ф.И.Дан. ("Гоц-Либер-Дан — 1917-го года"). Вел Ф.И. Дан "Социалистический Вестник" "железной рукой" и в те годы НЭПа занимал высоко-талмудическую позицию, т.е. был "левее Ленина", ибо ленинского НЭПа не признавал (страх перед крестьянством). Но это не была позиция Б.И. Николаевского, и его политических статей в "С.В." не было. Чтобы дать представление о позиции Дана, приведу самые краткие выдержки из "С.В.".

кричащем разногласии с правоверным поклонником лидером сменовеховцев, проф. Н.В. Устряловым, НЭПа. который писал тогда о Ленине несусветную восторженную чепуху: "Ленин наш, Ленин подлинный сын России, национальный герой, рядом с Дмитрием Донским, Петром Великим, Пушкиным и Толстым", лидеры "Социалистического Вестника" писали совсем другую, но тоже (как показала история!) несусветную чепуху: "Власть поворачивается лицом к крепкому крестьянству, к кулаку. Теория классовой борьбы замещается теорией гармонии интересов крепкого хозяйства и деревенской бедноты. Деревенская администрация уже сейчас все больше подпадает под влияние кулацких элементов..." — "Весь период военного коммунизма оказался переходным не капитализма к коммунизму, а от старо-помещичье-капиталистического к новому крестьянско-капиталистическому хозяйству". — "Под покровом диктатуры пролетариата происходит оформление буржуазных элементов. Советская национализированная промышленность подчинена стихии крестьянского хозяйства..." И так далее. И тому подобное.

Эту основную талмудическую (и, на мой взгляд, вредную!) часть "Соц. Вестника" я не читал ни при какой погоде. Да и вряд кто, кроме "миниатюрной" группки марксистов, интересовался. Но в "С.В." был очень интересный отдел — на последних страницах, петитом. Он назывался не то "Письма из России", не то "Вести из России". Вот им то главным образом и Б.И. Николаевский. "Вести из России" были "идеологии": только факты. И такого живого, злободневного материала ни в каком другом русском зарубежном журнале не было. И быть не могло. Потому, что только у меньшевиков тогда еще оставались живые связи с Сов. Россией. Многие меньшевики работали на больших постах в высоких советских учреждениях. Многие — в берлинском торгпредстве и полпредстве, позже став "невозвращенцами". Из торгпредства "выбрали свободу" — Н.А. Орлов (автор законопроекта о НЭПе), юрисконсульт торгпредства А.Ю. Рапопорт, его помощник А.А. Гольдштейн, И.А. Раев и многие другие. Некоторые "невозвращенцы" уходили с хорошими деньгами. В Берлине ходил тогда милый анекдот: — "Торгпредство ничего не имеет против Рабиновича, но Рабинович имеет дом против торгпредства". В полпредстве работал Ю.П. Денике, тоже "эмигрировавший" в меньшевицкую группу. Все эти связи по некой "пантофельной почте" давали "С.В." ценную информацию для "Вестей из России".

Кстати, в этом отделе Б.И. (уже в Париже) опубликовал законспирированное "Письмо старого большевика", которое, как теперь общеизвестно, было сводкой его разговоров с приезжавшим за границу Бухариным и которым сейчас пользуются все заграничные "историки КПСС". Так вот, из встреч с Фединым, Сейфуллиной, Тыняновым, Груздевым и другими советскими писателями я рассказывал Б.И. много, причем то, что Б.И. печатал в отделе "Вести из России", тщательно камуфлировалось, чтобы никак не подвести никого, и печаталось только, когда сказители были уже в СССР. Жизнь показала, что никого мы и не подвели. Эту информацию часто перепечатывала парижская ежедневная газета "Последние Новости" (единственная, по словам Троцкого, газета с Запада, которую читал Сталин, ибо иностранных языков не знал). Так в "П.Н." был перепечатан рас-

сказ о вызове выдающегося писателя в ОГПУ на предмет "завербования в стукачи" (фамилия, разумеется, не называлась). Рассказ о поездке Сталина на могилу Аллилуевой, как сейчас вижу прекрасно поданным на второй странице "Последних Новостей". Перепечатывали это в переводах и немецкие и французские газеты.

Помню как Б.И. хохотал своим высоким смехом, приговаривая: "Да, это он, это он!", когда я передал ему полуанекдотический факт о Д.Б. Рязанове (Гольдендах, а не Гольденбах, как дано у Л. Шапиро в "Истории КПСС" и у А. Солженицына в "Ленин в Цюрихе"). Рязанов был известный большевик, культурный человек, историк марксизма, отличавшийся своей независимостью и большим остроумием. Он был заведующий Центрархива и директор "Института марксизма", представителем которого на Западе он официально взял (меньшевика!) Б.И. Николаевского. Тогда это еще было возможно.

Так вот, будучи человеком духовно свободным, Рязанов давно увидел, куда заворачивает головка компартии под флагом (милого его сердцу) марксизма и на XI съезде партии Рязанов сказал довольно едкую тираду, оставшуюся в истории: "Говорят, — сказал Рязанов, — что английский парламент все может; он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее. Он не одного очень революционного мужчину превратил в бабу и число таких баб невероятно размножается".

Федин же рассказал мне не бывшую, конечно, в печати такую историю. Рязанов должен был приехать в Ленинград прочесть какой-то серьезный доклад по марксизму (великим знатоком которого он являлся). "Ну, конечно, — говорил Федин, — наши ленинградские бонзы постарались набить зал до отказу, чуть ли не тысячу человек нагнали. Председательствовал М.Н. Покровский. Рязанов вышел на трибуну, взглянул на зал, помолчал и вдруг обратился к председателю: "Скажите, пожалуйста, товарищ Покровский, это всё историки и всё марксисты?" — "Да, товарищ Рязанов". — "Ну, в таком случае я доклада читать не буду", — сошел с трибуны и уехал. Николаевский, повторяю, хохотал чуть не до слез. "Да, да, это он, это на него очень похоже".

Интересный факт о Рязанове рассказал Н.И. Ульянов в "Н.

Ж." (кн. 126), в статье об историке С. Ф. Платонове, который был помощником Рязанова в Центрархиве. "Однажды пришла в Центрархив со слезами вдова расстрелянного царского министра юстиции Щегловитова. Ее нигде не принимали на работу. Просилась на службу... Платонов колебался. Как доложить большевику и еврею Рязанову просьбу вдовы создателя дела Бейлиса? К величайшему удивлению, последовало распоряжение: "Взять!". И вдова была устроена".

Но все эти смелости и "суворовские" экстраваганции привели, конечно, к тому, что Сталин Рязанова "кончил". В 1930 году он был арестован и сослан в Самару. В бабу превратить Рязанова не удалось. И в 1938 году Сталин "шлёпнул" его в каком-то ежовском подвале. Причем Рязанову были пришиты "подпольные контакты с меньшевиками" (Б.И Николаевский?).

Вспоминаю, как однажды в Берлине Б.И. звонит мне по телефону очень поздно, извиняется, но дело, говорит, спешное: "В Берлин приехал Рязанов и этой ночью уезжает. Я ему говорил о вашей книге об Азефе, и он очень просит достать ее ему, хочет прочесть в дороге". И Б.И. ночью приезжал ко мне за экземпляром "Генерала Бо", который такому читателю я дал с удовольствием.

Как-то Федин рассказал мне про поэта и переводчика Валентина Стенича, славившегося среди писательской братии остроумием и необыковенной смелостью (вроде Рязанова, но у Рязанова был большой партийный стаж, а у Стенича — ничего). "Один раз, — говорил Федин, — идем мы компанией из Госиздата. Остановились на Невском у книжного магазина, среди книг выставлен большой бюст Сталина. И вдруг, схватившись за голову, Стенич кричит: — "И этот идиот с узким лбом правит нами! правит всей Россией!" Конечно, вмиг вокруг Стенича образовалась пустота, все шарахнулись кто куда. Но это обошлось. Только мы поняли, что со Стеничем ходить по улицам небезопасно. В другой раз Стенич отколол такую штуку. Были мы, несколько писателей-ленинградцев, приглашены в Кремль к Ольге Давыдовне Каменевой (сестра Троцкого)... Ну, пришли, собралось довольно большое общество — сам Каменев, конечно, он из себя изображал радушного хозяина, говорил жене, чтобы она подала какие-то там котлетки, всё поглаживал

бородку, кто-то говорил, что с этой бородкой он похож на Николая II, и правда, что-то отдаленно общее было, пожалуй. Был Радек со своим вечным остроумием, других "вождей" не было, но писателей набилось много, времена были не особенно сытные, и поесть у Каменева котлетки было приятно. Выступали, читали стихи, какие-то отрывки... И кто-то поддразнил Стенича, вот ты, говорят, смелый, а ведь не прочтешь здесь свои стихи о Совнаркоме... Стенич вскинулся и говорит: — Конечно, прочту! — Ой ли? — И Стенич взял и прочел свою невероятную "контру", где была такая строфа:

Дождусь ли я счастливейшего года Когда падет жидовский сей Содом. Увижу ль я в Бутырках Наркомпрода И на фонариках российский Совнарком?

Воцарилась зловещая тишина и страшная неловкость. Кстати, Стенич еврей, настоящая его фамилия Сметанич. Тишину прервал Радек, резко сказав, что стихи, во-первых, пошлые, во-вторых, черносотенные, и он советует автору о них забыть навсегда. За ним то же самое сказал и Каменев. Стенич сидел молча, и все "перешли к очередным делам" — то есть к еде, питью и "разговорам, для которых приехали".

От себя скажу, что Стенич, конечно, не уберегся. Острый язык и злой ум его все-таки подвели: сначала он посидел в тюрьме ОГПУ, его выпустили с "наставлением", а потом — в ежовщину — расстреляли.

С Фединым у нас были очень близкие отношения, и могу засвидетельствовать, что тогда (в 20-х г.г.), говоря о большевиках, он называл их — "они". А как относился к этим "они", показывает хотя бы его рассказ об одном приеме в Кремле. Были тут и цекисты, и чекисты, и военная головка, и писатели, и актеры. Федин рассказывал, как невероятно жрали и пили. И говорил, что на приеме был знаменитый по Беломорканалу палач-чекист Фирин. Известно, что многие писатели (Толстой, Шкловский, даже неврастенический Зощенко и мн.др.) "воспели" эту чекисткую фараонову бессмыслицу, стоившую смерти сотням тысяч людей. Федин говорил, что ему удалось увернуться и не поехать на канал, а на приеме в Кремле он всячески старался избежать столкнуться с Фириным. И в Кремле избежал. Но

когда уже возвращался в Ленинград и сидел один в купе, к нему вдруг из другого купе вошел этот самый знаменитый Фирин и сразу же повел разговор о том, как жаль, что Федин не приехал на Беломор, что он должен обязательно приехать "к ним", что ему будет там о чем написать и пр. и т.п. "Я вертелся как мог, — говорил Федин, — наотрез отказаться невозможно, ну я обещал как-нибудь приехать, но все-таки так и увернулся от Беломорканала".

Помню еще один рассказ Федина об Алексее Толстом. Кстати, Федин очень хорошо рассказывал и представлял людей, в нем было актерство (не столь броское, как в Толстом, но было). "Приехали как-то в дом Герцена в Москве Алешка Толстой и Пашка Сухотин поздно ночью, пьяные. Толстой требует водки. Но лакей видит, что "гражданин в доску", да и поздно, не дает. — Как! Нет!? Позови мне сейчас же е. т... м... А Герценом в доме Герцена называется управляющий рестораном, некий "метр д'отель", человек с ассирийской бородой. — Приходит Герцен. — Дай водки! — Не могу, час поздний... — Что?! Да ты знаешь, кто я и кто ты!? Ты — хам, я тебе сейчас морду горчицей вымажу! — А вы поосторожней, гражданин Толстой. — Ах, так прорастак твою мать! — Толстой делает скандал, кроет лакеев и "метр д'отеля" матом, называет хамами. — Кто я и кто вы! — Но под конец, хоть и пьян Толстой, но почувствовал, что может выйти скверно, все же "рабоче-крестьянская" власть. Идет на кухню. И как будто спьяну бормочет поварам и лакеям: — Ну, я вас крыл е..., теперь вы меня кройте, — садится на плиту. — Нет, это вам даром не пройдет, гражданин Толстой, не пройдет... Утром Толстой торопливо уехал в Ленинград. Лакеи поершились, поершились, грозили в суд подать, пошумели, но сверху всё дело замяли..." Федину Толстой говорил: — "Я за границей, Костя, везде могу жить, только не в Париже, в Париже мне обязательно набьют морду ха-ха-ха!" — гомерический хохот Толстого.

Небезынтересны были рассказы Федина о всяких не "великосветских", а "великосоветских" придворных историях. Например, Сталин и Луначарский. "Луначарский чувствует под собой "колебание почвы". Чувствует — надо просить прием. Просит. Сталин не принимает. Луначарский в волнении. Не принимает.

Наконец — принят. Наркомпрос начинает выяснять, говорит, говорит — в ответ полное молчанье, только презрительный взгляд исподлобья. Наконец Луначарский начинает "протестовать" и вспоминать о своих заслугах ... и вдруг реплика: — Тэбя болшэ нэт! — Прием кончен. Оказывается в этот день уже подписан приказ о назначении на его место Бубнова.

Подобную же историю Федин рассказывал о Рудзутаке. "У Рудзутака под Москвой богатая вилла какого-то бывшего богача и ведет он там широкую барскую жизнь. Вдруг чувствует "колебание почвы", чувствует, что надо "итти в Мекку". Просит приема. Не принимают. Пять месяцев просит приема Рудзутак. На шестом месяце принимают, но коротко. — Вэдэшь нэ коммунистичэский образ жизни. За это отбираем у тэбя на первый раз виллу и дадим ее Горькому. В слэдующий раз будэт хуже. — Прием кончен. И Рудзутак молча удаляется".

Не плох был рассказ и о Крыленко. "Крыленко охотился на медведя. Обкладчик неправильно расставил охотников по номерам, так, что, когда гон начался, медведь вышел мимо номеров. Крыленко пришел в такое бешенство, что вышедшего обкладчика ударил по морде арапником так, что тот повалился с ног..." — Жест вполне "крепостнический", хоть "товарищ Абрам" и посвятил всю свою жизнь борьбе "за счастье рабочих и крестьян".

Говорил Федин о всеобщей неприязни писателей к Демьяну Бедному. Рассказал, что в Питере у одного лица бережется бланк-приказ Демьяна от 1919 года какому-то начальнику железнодорожной станции: — подать Демьяну салон-вагон. Написаны приказательно несколько слов с подписью: "Демьян". О Демьяне Федин рассказывал и более интересный случай. "Изза каких-то гонорарных недоразумений Демьян был в ссоре с "Красной Газетой" и не давал туда ни строки, запрещая даже перепечатывать его басни. Но однажды к редактору "Красной Газеты" Чагину вдруг звонок. Звонит Демьян, говорит, что хочет мириться и будет печататься, но просит немедленно прислать ему 500 рублей, он сидит у антиквара-букиниста на Проспекте 25 Октября. Чагин и так и сяк, говорит, сию минуту в кассе свободных денег нет. Но Демьян упрашивает, говорит, что 500 рублей ему нужны сейчас дозарезу. И наконец 500 рублей Чагин

отправляет Демьяну к антиквару-букинисту. Оказывается, ловкий антиквар случайно где-то приобрел письма Демьяна к его незаконному, но кровному отцу вел. кн. Константину Константиновичу и сообщил об этом в Москву Демьяну. Тот стремглав примчался в Ленинград выкупать их. Но для выкупа до 2000 рублей не хватило 500. И не выходя из магазина, Демьян звонил в "Красную", предлагая Чагину мировую, только чтоб тот немедленно привез ему эти 500 рублей. Ну, и выкупил". Но Федин, меясь, говорил: — "Я этого антиквара-букиниста превосходно знаю, он хитрущий черт, и я уверен, что парочку самых махровых писем он все-таки на всякий случай припрятал".

Интересно рассказывал Федин о знаменитом академике Ив. Петр. Павлове, который "единственный во всем Союзе" открыто не признавал советскую власть и не стеснялся об этом говорить с кафедры. Но так как Ленин завещал "сохранить пролетариату Павлова", то академику всё это сходило с рук. Федин говорил, что Павлов держится не только независимо, но "вызывающе". В одной из вступительных лекций он сказал, например, что "самая глупая книга, которую он когда-либо читал, это — "Азбука коммунизма" Н. Бухарина". А когда в военно-медицинской академии началась "чистка студентов" и одним из пунктов чистки было "происхождение", то Павлов, с кафедры сказал: — "Если считается, что в этом учебном заведении не могут обучаться все желающие и, в частности, не могут обучаться лица духовного происхождения, то, вероятно, тем более не могут обучать лица такого же происхождения. Во всяком случае, я считаю для себя, как человека происходящего из духовного звания, преподавать в военно-медицинской академии неуместным. И преподавание прекратил. К нему — депутации, делегации. Но старик остался непреклонен.

Другой случай — по рассказу Федина — с Госиздатом. Госиздат давно хотел издать труды Павлова. Но старик долго не соглашался. Наконец — согласился. Среди фотографий (для помещения в книге) Павлов дал свою фотографию с отцом священником, в рясе и с наперстным крестом на груди. В Госиздате впали в панику, вопрос дошел до вершин, то есть, до Сталина. И вершины сказали: поместить. Но Павлов этим не ограничился, он посвятил свои труды своему сыну, а сын Павлова убит в

Белой Армии. И это посвящение дошло до верхов. Но верхи и тут сказали: поместить.

Еще случай. Когда Павлов во время полпредства Красина в Лондоне приехал туда на конгресс физиологов, Красин в его честь дал банкет. На этом банкете собрались все представители конгресса. Ждут, а Павлова нет, ждут — нет. Наконец Красину докладывают: — академик приехал. Распахивается дверь и в зал, где собралось множество людей, входит Павлов с колодкой всех царских наград. Но Красин — человек умный, воспитанный, не показав ни малейшего замешательства, любезно поспешил навстречу знаменитому академику. И банкет начался...

Я много записал рассказов Федина, всего не приведещь. Были короткие записи. Например, такие. Андрей Белый приехал в Ленинград к Толстому. Вдруг телеграмма из Москвы, что в его отсутствие в квартире произведен обыск и забраны все дневники. Белый в ужасе телеграфирует Горькому. Ответная телеграмма: — меры приняты, будьте спокойны. Белый все-таки мчится назад в Москву. Дневники он получил назад (после снятия с них копий, конечно): — продолжайте, мол, дальше...

Процесс меньшевиков, — говорил Федин, — начался с отобрания дневников у Суханова, которые он вел в течение многих лет. Они и послужили "основанием для процесса". Но процесс, по Федину, никакого "резонанса" не имел потому, что публика уже "попривыкла" к таким "постановкам".

Как-то я разговаривал с Фединым на тему, возможно ли "свержение советской власти" (во что я не верил). Федин сказал неопределенно: — "Перевертон? Черт его знает, но не дай Бог..." — "Почему?" — "Да потому, что ты даже не представляешь себе, что бы тогда произошло. Ведь у нас под полом спрессована такая ненависть, что оторвись хоть одна половица, оттуда вымахнет такой огонь, что все сожжет. Резали бы без устали... И не спрашивали бы: партийный иль беспартийный, а спрашивали бы: из какой кормушки ел, когда мы недоедали и голодали? И тем, кто ест из привилегированной кормушки, никому пощады бы не было. ... Знаешь, я видел как-то крестный ход у нас, и вот хоругви несли такие здоровенные, крепкие, толстолобые дяди... Я и подумал, дай им история волю, да они бы под корень всех нас вырезали.... Ведь мы же все, увы,

прикреплены к самой привилегированной "кормушке"... Вот в чем дело, Роман..."

Помню, я сказал, что "они не дураки", всех кого надо взяли на коммунистический корабль и вместе плывут...

— А кто сказал, что "они" дураки? Что-что, а зарезать себя не дадут, будьте уверены! Это только тут у вас в эмиграции людишки все в какой-то розовой водице купаются — примирение, перерождение, эволюция, национализация революции, "засыпание рва"... все это чепуха... читал я тут передовицы, например, Милюкова в "Последних Новостях" и вижу, ничего-то тут в эмиграции не понимают и никогда не поймут. Потому что мы там живем в мире совсем иных категорий, а вы тут — в категориях 17-го года... или даже до 17-го года... вот в чем дело... какое же тут понимание?..

О приезде Бернарда Шоу в Ленинград Федин рассказал довольно занятно. Приезд был организован "глупейшим образом", говорил Федин, это был просто "скандал". С вокзала Шоу повезли сразу осматривать Эрмитаж, потом еще куда-то, потом в Европейскую гостиницу на банкет. Шоу это взбесило и он сказал:

— У нас в Англии есть хорошая пословица: если собака голодна, ее не заставляют делать фокусы.

Поняли. И дали Шоу сначала отдохнуть. На банкете, устроенном позднее, председателем был некий товарищ Рафаил, как говорил Федин, — дурак полный. Именно он задал Шоу такой вопрос:

— Правда ли, что в Англии писатели получают ни с чем несоизмеримые гонорары и думает ли Шоу, что это хорошо, в то время когда английский пролетариат не доедает и прочее...

Вопрос перевел один переводчик. Шоу не понял. Перевел второй — Шоу не понял. Перевел Луначарский. Шоу не понял. Перевел Маршак. Шоу не понял. Но сказал: — я не понимаю, что мне говорят переводчики, но догадываюсь, что вопрос идет о писательских гонорарах в Англии. Эти гонорары хороши. Во всяком случае, если б в Англии все было национализировано, я бы хотел, чтобы писательские гонорары остались в неприкосновенности...

Хохот, недоумение...

Не помню точно, сколько раз Федин приезжал в Берлин. Чуть ли не каждый год. Первый раз, по-моему, в 1927 году, последний в 1932-м. И всегда мы часто виделись, он бывал у нас. Ездили по Берлину. Не раз бывали вместе у Владимира Пименовича Крымова в его барской вилле в Целлендорфе. Владимир Пименович был красочный человек. Но не как писатель. Хоть и был он плодовит, писательство его было, выражаясь по-французски, "скрипкой Энгра". Много писал, сам себя издавал (самиздат). Красочен Крымов был, как делец, умел деньги делать из воздуха, был очень богат и чудовищно скуп. О нем я подробно расскажу в "России во Франции", когда мне пришлось пожить у него (правда, недолго) в его вилле в Шату под Парижем. Кстати, эта вилла ранее принадлежала знаменитой шпионке Мата Хари.

Сейчас скажу только, что у богача Крымова была некая слабость, которую он и не скрывал, а афишировал: он не мог жить без людей. Поэтому за завтраками и обедами всегда должны были быть какие-нибудь гости. Причем завтраки и обеды были не только не "скупые", а просто-таки первоклассные: и закуски, и всякие вкусности, а из напитков — большой погреб: чего душа хочет вплоть до шампанеи. Накрывался стол всегда на застекленной веранде, выходившей в сад. Уж не знаю почему, Владимир Пименович очень любил гостей фотографировать. Раньше я этой его любви не разделял, а теперь говорю — очень хорошо делал, по крайней мере в моем архиве остались фотографии — и с Фединым, и с Толстым, и с Николаевским и с др.

Последний приезд Федина был тревожный. Федин давно был болен туберкулезом. Часто кашлял и страшновато (с мокротой). А в августе 1931 года я получил от него телеграмму, что выезжает за границу лечиться. Следом пришло письмо. Федин очень просил меня приехать в Штеттин его встретить и проводить до Берлина, так как один, пожалуй, не доедет, до того слаб.

К указанному дню я выехал в Штеттин. Приехал за день до прихода парохода. День проходил по приятному, незнакомому Штеттину. ("И идут чужие города/ И чужая плещется вода"). Переночевал в крохотном отельчике у пристани и в нужный час ждал Федина. Должен сказать, видом его я был потрясен. Федин

был слаб и худ, как щепка. Щеки ввалились, постарел страшно, отрастил почему-то бороду. Словом перед мной был больной старик, непрестанно кашлявший.

Мы облобызались. Я взял его чемодан, он нести был не в состоянии. Железнодорожные билеты я взял заранее. Ехали в купе вдвоем. Костя все время кашлял в платок (кашлял с мокротой). Глядя на него я думал: "нежилец!". Я спросил его: к кому он хочет обратиться в Берлине? Он назвал какого-то светилу-профессора, рекомендованного питерскими врачами, и сказал, что в Ленинграде ему посоветовали поселиться в Шварцвальде. Тогда я изложил ему план моей жены.

В Берлине у нас есть большой друг доктор Конрад Конрадович Кюне. Кюне немец, очень долго живший в России (м.б. даже родившийся там). Кюне замечательный доктор, специалист по туберкулезу. И так как он сам когда-то был болен туберкулезом, то, естественно, знает эту болезнь как должно. Олечка предлагает Федину ДО обращения к знаменитости пойти к Кюне. Федин ничего не теряет. Кюне его сразу примет (Олечка уже говорила с Кюне о нем). Пусть Кюне его осмотрит и скажет свое мнение. Причем я предупредил Федина, что Конрад Конрадович доктор своеобразный. Он говорит пациентам всю правду в глаза. Так, на вопрос одного больного — какую ему держать диету? — Кюне сказал: никакую, ешьте все, потому что вам осталось жить несколько месяцев. Я сказал Федину, что и он может получить какой-нибудь "страшный" диагноз. Но диагноз Кюне его ни к чему не обяжет, после него пусть пойдет к знаменитости. Кстати, я сказал, что Кюне не сребролюбец и м.б. с него, как с нашего друга, совсем ничего не возьмет. Федин благодарил и сказал, что так и сделает.

В назначенный день в Берлине Федин отправился на прием к Конраду Конрадовичу. Тот его всячески исследовал и сказал: — "Никакой Шварцвальд вам не поможет, слишком низко. У вас есть только один выход: немедленно ехать в Давос. Там вам сделают пневматоракс обоих легких. И оставят на давосском воздухе. Выжить у вас — пять процентов: это зависит от того, подойдет ли вам давосский горный воздух, некоторые после пневматоракса легких его не выдерживают. Но если давосский воздух подойдет, тогда есть некоторый шанс, что поправитесь."

После приема у Кюне Федин решил, что ни к какой знаменитости он не пойдет. Кюне произвел на него деловое впечатление, он ему верит. И так как Кюне советовал не медлить ни одного дня, ибо состояние здоровья критическое, то, не задерживаясь, поедет в Давос с письмом Кюне к доктору давосского санатория.

Так и было. Швейцарское консульство без задержки дало Федину визу и он отбыл в Давос. Здесь Федину повезло. Оба пневматоракса он хорошо перенес. А давосский воздух подошел ему как нельзя лучше. Итак, план Олечки пойти к доктору Кюне спас Федину жизнь в буквальном смысле слова. После Давоса Федин прожил (да еще в какой кипучей деятельности!) много лет, дожив до глубокой старости. И под старость — надо признать! — сделал немало гадостей в русской литературе, особенно в отношении Пастернака и Солженицына. Но этот переход Федина — от писателя к сов. вельможе (генсеку ССП, председателю ССП, депутату, лауреату) — психологически не сложен.

Из Швейцарии Федин часто писал мне и жене, присылал фотографии, которые до сих пор у меня в архиве. Описывал, как быстро поправляется, на сколько фунтов потолстел, как целебен воздух Давоса и прочее. А на моем столе еще стоит коробочка карельской березы, ручной кустарной работы, привезенная Фединым в подарок, когда я встретил его в Штеттине.

Под конец пребывания в Давосе — с начала сентября 1931 года до конца мая 1932 года. — Федин совсем поправился. На последней фотографии — надпись: "посмотри, как я потолстел!" Действительно, вид был совсем здорового человека.

После Швейцарии Федин провел некоторое время в Берлине. Это было, вероятно, в июне 1932 года. Но к концу года Федин должен был возвращаться в Ленинград, а из СССР шли самые скверные вести об ухудшении жизни во всех смыслах ("хвосты за керосином", "достать селедку — проблема", "завинчивание всех гаек" и т.д.). Это Федина, естественно, беспокоило. Помню, звонит он по телефону и говорит, что наше свидание надо отложить потому, что приехал Всеволод Иванов, завтра будет у него и от Всеволода он все узнает о "положении на родине". Отложили. А дня через два я у Федина в пансионе познакомился с автором "Бронепоезда".

Всев. Иванов был совсем не чета Федину. Некрасивый по

внешности, но сразу видно, что умный и по характеру сильный, твердый, с посторонними замкнутый, человек. "Провожать" его куда-нибудь, как Федина, не было никакой надобности. Мы пошли втроем в ресторан. В то время я как раз выпустил в Берлине у "Петрополиса" ("Парабола") книгу "Тухачевский". Но вышла она всего каких-нибудь дней десять и я даже не успел ее дать Федину. В ресторане среди незначительного разговора Всеволод Иванов неожиданно бросает мне:

- Ну, и книжечку вы выпустили... ничего себе...
- Какую книжку? искренне удивился я.
- Да о Тухачевском.
- Да где же вы могли ее видеть, она только что тут вышла.
- Где видел? с какой-то не очень приятной улыбкой и не очень приятным тоном сказал Иванов. У двух людей в Москве. Одну на столе у самого Михаила Николаевича, а другую у Яши Агранова (так и сказал "Яши". В числе прочих писателей Всев. Иванов бывал у этого омерзительного чекиста, имевшего отношение и к литературе).

Мне почему-то это сообщение Иванова было неприятно. У Агранова? У самого Тухачевского? С такой молниеносной быстротой? По лицу Федина я понял, что и он тут чем-то "шокирован", хотя книги моей не знает, но по тону Иванова, вероятно, понял, что с ней что-то неладно. Ни в какие расспросы Иванова я, разумеется, не пускался. И к теме о моей книге не возвращались. Среди разговора Федин предложил Иванову поехать завтра с нами к Крымову на обед, тот согласился.

А когда мы с Фединым остались одни, он сказал, что сведения, идущие из СССР и о "завинчивании гаек", и о резком ухудшении продовольственного положения, даже в Москве и Питере, — верны. Иванов ему рассказал какие-то удручающие вещи. "Ну, а Всеволод серьезный мужик и настоящий друг. Если говорит — стало быть так".

На следующий день мы втроем были у В. П. Крымова. Его милая жена, Берта Владимировна, и на этот раз сама себя превзошла в угощении. За столом Владимир Пименович подливал гостям напитки (он любил, чтоб гости становились все разговорчивее), стал расспрашивать Иванова о положении в Сов. России — верны ли такие-то слухи, верны ли такие-то

сообщения, но Всев. Иванова ни водкой, ни коньяком, ни шампанским не подмочишь. Он отвечал ловко, увертливо. И из его ответов никакой "картины" составить было нельзя. Эту "неразговорчивость" умный Крымов быстро понял и перешел на безболезненные темы.

Перед отъездом Федина в Ленинград мы встретились в Берлине. Он возвращался в СССР из Шварцвальда, из Сан-Блазиена. Но эта встреча оказалась довольно "драматической". В Шварцвальд я послал ему мои последние книги "Тухачевский" и "Красные маршалы", вышедшие у "Петрополиса" ("Парабола"). И от них (особенно от последней) Федин "пришел в ужас". Было от чего. В предисловии к "Красным маршалам" я писал: — "Может быть не было еще исторического явления более парадоксального, чем русская революция. По существу своему крестьянская, а потому национальная она вскоре была втиснута Лениным в прокрустово ложе коммунистической и интернационалистской... Понятно, что меры коммунистической олигархии направлены против русского крестьянства... Сталин с своими заплечных дел мастерами не только обрубает ноги, он карнает народное тело со всех сторон ножницами пятилетки и коллективизации и втискивает это тело в рамку интернационального коммунизма... Борьба крестьянства с авантюристически-навязанным доктринерским коммунизмом идет сейчас со всей ожесточенностью..." И так далее.

При встрече первые же слова Федина были:

- Роман, как ты мог такое написать?
- Написал, Костя, потому что так чувствую.
- Но ты же теперь у нас будешь в "активных врагах народа"?
- Без сомненья. Но знаешь, Костя, после всех этих зверств коллективизации, террора я их ненавижу так же, как ненавидел в 1917 году.
- Дело твое, конечно, мрачно и недовольно проговорил Федин, но мы с тобой больше переписываться не можем. Ты понимаешь это?
 - Разумеется. Думаю, что не можем.

Простились мы неплохо. Федин еще раз благодарил меня и жену за доктора Кюне. И отбыл в СССР...

36 Р. ГУЛЬ

С тех пор, как я "перешел в стан активных врагов народа", я считал, что с Фединым никогда не встречусь. Это оказалось неверно. Судьба свела нас еще раз. Это было в 1934 году в Париже, куда мы в сентябре 1933 года уехали с женой из Германии после моего заключенья в концлагере "Ораниенбург". Узнал я о приезде Федина в Париж от Евг. Ив. Замятина, которому Федин писал довольно нехорошие (по-моему) письма, весьма "дипломатично" уговаривая "вернуться на родину". Но Замятин был настроен резко антибольшевицки и ни на каких "червячков" не клюнул. Замятин дал мне телефон отеля Федина и час, когда ему можно звонить. Я позвонил. Разговор был как будто дружеский, но Федин все же сказал: "Ты понимаешь, Роман, что теперь нам встречаться не очень удобно". — "Вполне понимаю, что тебе неудобно, я то готов встретиться когда хочешь". И мы все-таки встретились. Федин приехал к нам.

Он расспрашивал меня о моем сидении в гитлеровском кацете, о нашей семье, о докторе Кюне. Но разговор все-таки както не шел, не клеился, прежних простых дружеских отношений не было. Федин повторил об "активном враге народа". Я подтвердил. На прощанье сказал: — "Ну, теперь вряд ли когда увидимся. Скажу тебе прямо, если меня вызовут в известное учреждение (это учреждение талантливый Вл. Войнович хорошо называет — "ТУДА КУДА НАДО". Р.Г.) и будут спрашивать о тебе, скажу, что ты продался иностранным разведкам". Я обмер и взмолился: — "Костя, да чтоты, в уме? Скажи, что я противник террора, коллективизации, диктатуры партии, все как есть..." Но Федин безнадежно махнул рукой. — "Все вы эмигранты одним миром мазаны. Да ты понимаешь, что, если я скажу, что ты "идейный противник того-сего", там этого просто не поймут, это для них слишком сложно. А надо сказать так, чтоб им было понятно: — вот продался иностранным разведкам — это им вполне понятно, это на их языке". И Федин так убедительно об этом говорил, что я в свою очередь махнул рукой и сказал: — "Ну, говори, что хочешь, как тебе удобней". — "Да, может, меня никто и спрашивать не будет. Это так, на всякий случай говорю. А тебя прошу, если будешь писать обо мне — выбирай самые черные краски, не стесняйся, пожалуйста, пиши, что я лакей компартии, что я сволочь, что я изнасиловал кошку... это для меня будет самое подходящее".

Не знаю, вызывали ли Федина ТЕ КОМУ НАДО в ТУДА КУДА НАДО? Но я о Федине с тех пор ничего не писал. И знал, что теперь-то мы с ним никогда не встретимся. Но произошла еще одна вроде как бы "встреча". Негаданная.

Когда мы с женой после конца мировой войны, в 1945 году, вернулись в Париж из Гаскони (где больше четырех лет были сельско-хозяйственными батраками), эта встреча и произошла. Обстоятельства ее таковы. В Париже у меня был близкий друг Яков Борисович Рабинович. Дружили мы с Берлина 1920 года. Я. Б. был человек не без блеска: умница, прекрасно образованный, широкой души. О нем я буду писать в "России во Франции". А тут скажу только, что Я.Б. во время войны был руководителем подпольного еврейского (он был сионист) и эмигрантскорусского движения "сопротивления". И в 1945 году от какой-то сионистской организации поехал в Германию на Нюренбергский процесс. Я у него был как раз накануне его отъезда. Рабинович сказал, что вернется через две недели.

И вот в самом конце декабря получаю в Париже "пневматичку", в ней Я.Б. пишет, что просит прийти к нему, ибо привез мне самый сердечный привет с Нюренбергского процесса. И я и Олечка ничего не поняли. Вошел я к Я.Б. со словами: — "От кого же привет — от Риббентропа или от Розенберга?" — Я.Б. засмеялся (он смеялся очень заразительно). "Никак нет, ни от того ни от другого, а от Константина Федина!". Я так и ахнул.

Я.Б. рассказал, что в Нюренберге, в каком-то "трибунальском ресторане" он в первый же день случайно оказался за столом рядом с Фединым и с каким-то "сопровождающим" его типом. Разговорились по-русски. Узнав, что Я.Б. из Парижа, Федин вдруг спросил: — "А не знаете ли вы такого русского писателя Гуля?" — Я.Б. говорит, что был поражен вопросом. "Романа Борисовича, говорю? Да он у меня позавчера был, мы старые друзья еще по Берлину. Федин, — сказал Я.Б. — явно очень обрадовался". — "Вот как?" — Но все же осторожно спросил, где я был во время войны? "И когда я сказал, что вы сидели у нацистов в концлагере (это он знал), а в войну были, конечно, за союзников, политический "лед" был сломан. Федин стал расспрашивать о вашей матушке, я сказал, что она сконча-

38 Р. ГУЛЬ

лась. Федин произнес — "замечательная была женщина", спросил о вашем брате, я сказал, что тоже умер. На том разговор за общим столом и кончился. А потом когда Федин, уже без соглядатая, случайно столкнулся со мной в судебном коридоре, то, остановив меня, сказал: — "Передайте, пожалуйста, Роману и Ольге Андреевне мой самый сердечный привет!" — Вот я и передал..." — закончил свой рассказ Яков Борисович.

И я и жена были тронуты памятью Федина.

Потом я, конечно, читал о Федине всё, как он "пошел в гору" крутой подъем на золотую, кремлевскую гору. Когда жена меня как-то спросила, как ты думаешь, что произошло с Фединым, я так объяснял его человеческое и писательское падение. Во-первых, Федин очень больной человек. Во-вторых, Федин от природы человек слабый, эгоцентрический, а таких тоталитаризм подламывает мгновенно и без возврата. В-третьих, Федин до мозга костей "литератор", и "литератор" тщеславный, он хочет удержаться во что бы то ни стало наверху пирамиды, причем, конечно, чувствует, что талант от него уходит. Уже "Братья" были собственно халтурой и "косоглазием". А дальше в лес — больше дров. Федин полностью перешел на халтуру соцреализма. Но тут держаться наверху пирамиды можно было только, став "литературным функционером". Поэтому и пошло: генсек СПП, председатель СПП, депутат Верховного Совета РСФСР, депутат Верховного Совета СССР, сталинский лауреат, свой человек со всеми Ильичевыми, Пономаревыми, комвельможами, душившими "во славу социализма" все живое в литературе.

И именно эти разъевшиеся, мордастые номенклатурщикигангстеры из Дома на Старой Площади давали Федину "деликатные поручения": уговорить, например, Пастернака отказаться от Нобелевской премии, да чтоб он написал письмо Хрущеву и в "Правду". И вельможа Федин уговаривал Пастернака так, как хотели мордастые гангстеры. Федин должен был "зарезать" и роман Солженицына "Раковый корпус", он его и зарезал, как хотели мордастые гангстеры. Зато жил Федин в прекрасной даче в Переделкине, обставленной "александровским" гарнитуром красного дерева. А умер, перевалив за 80-ть, в "государственном" почете и в ненависти некоторых писателей, кому была дорога литература. Вот что наделал доктор К. К. Кюне своим диагнозом.

Однажды в разговоре о Федине я сказал Олечке эту фразу — "вот что наделал диагноз Конрада Конрадовича". — "И тебе не стыдно так говорить?" — ответила Олечка. Признаюсь: тут я перед женой пасовал. Если б в Берлин приехал в последнем градусе чахотки сам Сталин иль Ягода, Олечка даже бы о них поговорила с Конрадом Конрадовичем. Я это очень ценил, но сам, увы, не умел.

(Продолжение следует)

Роман Гуль

Надо ли было сказать в крематории О биографии, темной истории?

В траурной рамке, "с глубоким прискорбием"... Глухо звучал неторжественный реквием. Что же, душа — наслаждайся бессмертием.

Мы возвращались туманными рошами, Скучно паслись беловатые лошади, Влажно рыжели невзрачные озими.

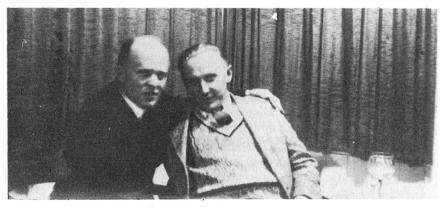
Надо ли было сказать в эпитафии Правду о марихуане и мафии?

Жил бы, замученный злыми пороками, Между аптеками и дискотеками, Между полицией, неграми, греками. Как надоели убийцы, убитые, Разные мертвые, быстро забытые!

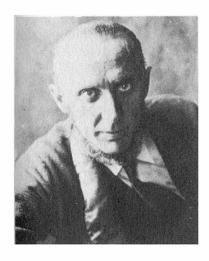
Игорь Чиннов



Р. Гуль и К. Федин на Курфюрстендамм с покупками от Ка-Дэ-Вэ. Снято уличным фотографом. Берлин, 1928.



Р. Гуль и К. Федин после "мокрого" обеда у В.П. Крымова в Целлендорф. Берлин, 1931.





Только что приехавший из СССР, больной Федин. Сфотографирован в Ленинграде в июле 1931.

К. Федин в Давосе в санатории. На обороте рукой Федина написано: "Это — октябрь 31.В декабре я стал значительно толще. Пришлю в следующий раз декабрьскую. Целую К.Ф."



Р. Гуль и К. Федин. Берлин. 1928.

ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВЛ. КОРВИН-ПИОТРОВСКОГО

Если первая загадка поэзии это: каким образом в стихотворении, загнанном в жёсткие рамки размера, появляется мелодия; то вторая — каким образом сочетаются в стихотворении неуправляемость мотивов и в то же время присутствие темы, которую необходимо воплотить.

3a рассмотреть поэт пытается видимостью актуальность, а за временным — вечное. В этом единении идеального и реального, желаемого и действительного, истины и фантазии — и величие, и трагедия, и соблазн. Мир реальный и фантастический, столь легко взаимозаменяемые, предстоят в творчестве Вл. Корвин-Пиотровского в сочетаниях весьма причудливых — нераздельно и неслиянно. Можно выразиться иначе — обыденная реальность, высшая реальность духовная и поэтическая реальность нашего сознания — представляют для него идейно-художественное пространство. Это редкий дар ощущать реальность высшую присутствующей вокруг. Причём ощущение это не оккультно и не мистично, а скорее — всё это жизнь в постоянном созерцании или в предвидении чуда. Три белых полотенца превращаются в седых волхвов, мост и город "вдруг уплывают в облака" — уплывают "реально", а вместе с ними улетает и сам поэт, преобразившись в ангела, "который всех моложе"; на его столе "как бы два яростных крыла восходят в золоте тумана", аэроплан с "кровавым глазом" на самом деле многоокий сверкающий херувим. В одном из стихотворений, в тюрьме, Вл. Корвин-Пиотровский, ожидая написанных возможной смерти, рисует на стене углём море, лес, тучу и "ладью на берегу морском":

Я долго дую в парус белый, И вот бежит моя ладья, — Счастливый путь, кораблик смелый, За счастьем отправляюсь я.

Это не сказка — реальность воображения поэта становится вещественнее самой реальности. Окно, решётка и тюрьма исчезают.

Один из излюбленных образов поэта, его особая тема — ангелы. Их генеалогию можно, конечно, проследить в русской поэзии, которая уходит от Поплавского к Блоку и далее — к Лермонтову, к последней своей дальности. Однако поэзия Вл. Корвин-Пиотровского являет ангела не как украшение или метафору, но как прикосновение к духовной актуальности, к предельным метафизическим основам бытия. В написании обыденного пейзажа нежданно:

Там, там, где ельник синеватый Возник зубчатою стеной, Занёс впервые страж крылатый Свой грозный пламень надо мной... С тех пор изгнаннику не надо Ни райских, ни иных цепей, Душа на всё теперь скупей И даже мудрости не рада.

Тема ангелов определяет и тему полёта: будь то полёт самого тела или отъединённой души. "Воздушный змей" назван один из сборников поэта.

Умение узнавать в известном неузнаваемое роднит Вл. Корвин-Пиотровского с характерным аспектом поэзии Б. Пастернака. Подобное качество есть, по Вячеславу Иванову, один из путей осуществить предназначение искусства движение от реального к реальнейшему. Однако с Вл. Корвин-Пиотровским дело обстояло несколько сложнее: миры, целостнораздробленные, ускользая, вновь воплощались в следующий миг его души, которой, кажется, было по-земному нелегко вместить всю многомирность и разномерность. "Зане Был сам крылатым и певучим", — пишет он о себе с заведомой ("Может быть"!) иронизирующей оглядкой.

Доставало ли мощи крыльев и силы голоса? "Двойной мир, — говорил поэт, — это не только литературный приём, я всей душой ощущаю его, стою одной ногой тут, а другой — там. Оба они для меня реально слиты, но враждебны..." Всё дело в своеобразнейшем конфликте: ощущением, чуть ли не осязанием, каждым трепетным атомом высшей реальности духовных высот и привычкой разума скептицизировать, которая более или менее подозрительно относится ко всему "нашей философии не снившемуся".

Оттого столь мучительно преследует поэта страстная жажда преодоления такового дуализма. Бесконечное многообразие творения, многоплановость творящей личности одаряют художника необъятным горизонтом исканий, возможностей, дерзаний в его борении осуществить мечтаемое единение, певучее слияние с миром, некий "потерянный рай". Купаясь, он ощущает явление смерти на берегу: "с одеждой оставляя тело". Смерть ли это? Ответ: "И ночь моя — простая тень в простом и светлом мире этом". Мы улавливаем восторг, созвучный пантеизму позднего Заболоцкого:

Здесь каждый стебель полон мной, И всё полно моим дыханьем, Я проливаюсь в мир иной Одним безбрежным колыханьем.

Это ли не преображение себя в мире и мира в себе, последний желанный прорыв? Но и в это "остановившееся мгновение" — "жалость смутная во мне ко всем усопшим и живущим" перетягивает "второй мир", в котором он тоже "одной ногой"... В стихотворении же, созданном в тюрьме, поэт совершает духовный подвиг, если не преодолев разъятие миров их слиянием, то реализуя себя над их разъятием как таковым:

В тюрьме моей, во мраке чёрном Лежу и не смыкаю глаз, А время молотом упорным Дробит мой умывальный таз.

Я тяжких капель не считаю, Двойного ритма не ловлю, — Я в полночи иной мечтаю, Я в вечности иной люблю.

Непроницаемой стеною Мир от меня отъединён, Но в крупных звёздах надо мною Творится новый небосклон.

И бестелесной плотью чистой Я рею в голубом луче, И солнце розой золотистой Сверкает на моём плече.

На пороге смерти благостный, оплодотворяющий скорбь мир торжествует. Только твёрдое знание Присутствия Протянутой Руки могло бы вызвать к жизни приведённые строки и, надо полагать, опираясь на эту Руку, он и выжил как человек и художник.

На воле, в вечернем саду поэта посещает состояние, коим редко мы награждаемы в жизни:

На шумных братьев непохожий Весь день прихода ночи жду, А ночью слушаю в саду Как вызревает слово Божье.

В мерцанье лунного столба В густой листве таится лира И ствол недвижный — как труба, В которой замкнут голос мира.

Вот резвый ветер налетит — И заиграет мрак привольный, Всколышится, зашелестит И бурным пеньем возвестит, Что ныне молвит безглагольный.

Гармония достигнута — пусть лишь на один вечер, один час, одну секунду.

Творчество Вл. Корвин-Пиотровского интересно и тем, что в нём воплощаются три основополагающие течения русской поэзии — пушкинское, лермонтовское и тютчевское. Разумеется,

не стоит говорить о каком-либо ученичестве. В его случае допустима лишь мысль о том или ином влиянии. В этой поэзии свершилось преображение столь же естественное, как рост цветка из подземной темноты. Поэт остаётся оригинальным и в тонких стилизациях и в иронии реминисценций, как и в столкновениях с общими всем людям предельными вопросами бытия.

Лермонтовское звучание — более всего не выявлено. Мы слышим его в интонационном строе, в излюбленных образах и символах: полёт, звёзды, корабль, даже — парус ("В отдаленьи и романтической чувственности "холодным последний"): В сердцем", в жажде "такой свободы, такой жестокой чистоты". Есть сближение и глубиннее: само поэтическое положение Вл. Корвин-Пиотровского —балансирование на рубеже двух миров, проявляющееся иногда конфронтацией ("зачем несомненно родственно поэтической Лермонтова. Здесь истоки мучительной темы падения. Сколь, однако, непохожи падшие ангелы Вл. Корвин-Пиотровского на патетически-величественного Демона Лермонтова. Но в наше время невероятно просто "изгнанник вольного эфира стал пленным пасынком земли". Ни на что, кроме единоборства с мёртвым богом, его мёртвая душа не способна. В другой раз гордый Люцифер, выродившись в "ангела старого", робко трогает крылом прогуливающуюся банкирскую чету, прося смиренно милостыню. Строго отчитав бунтовщика, банкир, однако, протягивает ему пятак. Как здесь не вспомнить о пародически переосмысленном лермонтовском "Нищем". И наконец, последняя, совершенно абсурдная мысль закрадывается в душу поэта: что если ангел, с которым он невольно отождествляет себя, в наш век разучился даже падать?

В большом стихотворении "Десятый круг" тень Поэта, нелепо казнимого ничтожным прозябанием и бродящего там "без цели и отрады, не услаждая слуха ничьего", видится искажённым отражением трагического лермонтовского героя.

Из воспоминаний нам известна одержимость Вл. Корвин-Пиотровского Пушкиным. Впрочем, и без этого из всей поэзии его, не только из тех стихов, в которых Пушкин является ему в лихорадочном бреду, — нам ясно: поэт был влюблён в Пушкина как в живого и, очевидно, часто ошущал наяву волнующее его присутствие. Постижению Вл. Корвин-Пиотровского открылись многие пушкинские тайны. Хотя бы то, что Сальери не столько завидовал, сколько любил Моцарта, убивая его с "нежностью, с отчаяньем"; что "чёрный человек" — вне добра и зла, смерти и жизни, но "только шум поющего потока" и "мёрзлый пар, идущий от Невы"; что не столько Дон Жуан, сколько Донна Анна совершает неискупимое моральное преступление. (См. "Стихи к Пушкину" и драматические поэмы"Ночь" и "Смерть Дон Жуана"). И конечно, очень пушкинским веет от просьбы поэта к подруге посидеть с ним в часы бессонницы:

Будем слушать понемногу Шум докучливый дождя Иль, на рифму набредя, Заглушать стихом тревогу.

Только лёгкой каруселью Тени носятся вокруг, Только сердца тайный путь В полуночном подземелье.

Казалось бы настроение почти совсем пушкинское, но только — почти. Два-три образа, Пушкину никак не свойственные, придают стиху иной поворот и тогда вспоминаешь, что тема его — бессонница, бессонница современная, имеющая отчаянье своим пределом: "Снова въедливая хина сводит судорогой рот..." Но сближает поэта с Пушкиным обаятельная лёгкость, непринуждённость стиха при всей культивируемой Вл. Корвин-Пиотровским строгости формы.

Критики писали о барочности характера поэта, зигзагах и капризности его темперамента. Но в переводе на его поэзию, если можно говорить о барочности, то, думается, не по поводу формы, которая явно классична. Ему чужда изощрённая орнаментальность, культ деталей. Он — почти противоположен таким поэтам, как Чиннов или Иваск. Существует и иной аспект понятия барокко — аспект содержательный — трагическая разорванность мира, мощный конфликт стихий, размытость граней, жизнь как сон, — барокко не Гонгоры, но Кальдерона. В этом смысле барочен даже Тютчев, поэт классичнейшей формы.

Надо сказать, что барокко и классицизм мирно, более того — взаимопроникновенно соседствовали в XVII веке. Гений Тютчева, в частности, проявлялся в этой редчайшей способности контраста, когда психологическая бездна противостоит метафизическому небу, в некое мгновение таинственным образом почти сливаясь с ним. Разумеется, масштабы не сопоставимы, но сходная тенденция наличествует и у Корвин-Пиотровского. Она проявляется, когда основная антиномия двух миров кажется неразрешимой. "Влюблённый в ночь", как Тютчев, он ночи ждёт. И находит для неё, под стать ему же, яркие особенные образы: "Безмолвья тёмная рука мне слабо пожимает руку" (вспомним тютчевское "Silentium"); "в ночь обрывается земля, ночь наступает гробовая"; "какая ночь, какая глубина, почти без чувств, почти без выраженья"; или ещё:

И близкой ночи шорох важный, И дальний шум дневных тревог — Всё разрешается в протяжный, Огромный и глубокий вздох.

А в другом стихотворении тютчевский же контраст:

В зелёном зареве листа... Такое трепетное чудо.

Столь же пристальное внимание к душе: "Душа, как мохом поросла насильственным и беглым наслажденьем". Бесстрашное противополагание её телу — мощное и парадоксальное вопреки обыденному: "Душа привычно опустела, — лишь остывающее тело рвалось к лазурной высоте". Отдалённо тютчевский порыв в восклицании: "О Боже мой, какая синева! О Боже мой, беспомощность какая!" И как отточенные антиномические афоризмы, звучат отдельные двустишия: "Есть голода высокая ступень, похожая на муки пресыщенья" или "Так совершенна глухота среди нестройного звучанья". Загадочное предчувствие: "Как будто в мире бушевала пророчеств тайная гроза". Апокалиптические видения, когда "древле связанные сойдут с расплавленных орбит" — временами почти тютчевского накала. И наконец, глухой отзвук теодицейной трагедии ("И нет в творении Творца и смысла нет в мольбе") улавливается в

строках: "Могиле вечность только снится, за гробом вечность не нужна". Явление Вл. Корвин-Пиотровского заключается в исключительном внутреннем разнообразии при сохранении единства внешнего, выраженного главным образом четырёхстопным ямбом. Поразительно, что разнообразие это отнюдь не порождает противоречий — противоречия взаимосвязаны, а не взаимоисключаемы, в самом крайнем случае — антиномичны. Но так же безусловно, что антиномии — один из путей достижения гармонии.

Валерий Блинов

"Убитой было девяносто восемь, "Убийце восемнадцать. Сколько жертве, "Скажите, оставалось жить? С неделю? "Ну, а ему? Лет шестьдесят, пожалуй.

"Мне жаль его. Ее — я не жалею. "Шел дождь, когда его казнили. Было "Еше темно. Да, то-то и оно-то. "Такие-то дела. И что тут скажешь".

Игорь Чиннов

Живьем — и облако сияет На розоватом небосводе.

О да, пожравший будет пожран, Возмездие осуществится: В блаженный августовский полдень Судьба расправится с убийцей.

Ну что ж! Великий Архитектор, Творец загадочной вселенной, Господь, непостижимый Некто, Распорядился тварью бренной.

Тому, кто здесь избегнет казни, Грехи припомнятся за гробом. Но разве он виновен, разве, Когда такой он создан Богом?

И пламенной расцветкой тигра, Который разорвал ягненка, Я любовался. Помню игры Тигрят — и клетку. Очень звонко

Заржала зебра. Лебедь плавал. Я думал о свободе воли. И белый алоглазый кролик Смотрел на черного удава.

Игорь Чиннов

О "МАСТЕРЕ И МАРГАРИТЕ"

"...так...стал известен "Мастер" Булгакова, открывший нам глубокого религиозно-мистического мыслителя, о существовании которого мы до того и не полозревали".

(И. Р. Шафаревич: "Д. Д. Шестакович", "Вестник Р.Х.Д., № 125)

В 134-й книге "Нового Журнала" обращает на себя внимание статья Г. Кругового — "Гностический роман М. Булгакова". Мне бросается в глаза вопиющее несоответствие между названием статьи и предметом, о котором в ней идет речь: ведь нашумевший роман Булгакова "Мастер и Маргарита" в действительности отнюдь не гностический, а сугубо антигностический. Г. Круговой продолжает далеко на новую тенденцию ряда критиков, которая по существу сводится не к раскрытию, а к замалчиванию истинного смысла романа. Г. Круговой уделяет много внимания второстепенным и чисто формальным подробностям, собственным домыслам и даже каким-то псевдоматематическим выкладкам. А самое главное — идеологический стержень произведения — обходит молчанием.

Возражая ему по существу, я начну издалека.

На страницах "Вестника РСХД" со слов жены М. Булгакова было рассказано (№ 119, стр. 230), как незадолго до смерти тяжело больной и уже почти лишившийся речи автор "Мастера и Маргариты" жестом попросил дать ему в кровать рукопись этого

Для этой статьи мы пользуемся полным, неурезанным советской цензурой заграничным изданием (1969 г.). Автор.

романа. Подержав ее в руках, он с великим трудом выдавил из горла короткую, но многозначительную фразу: "Пусть знают!" И эта фраза подошла бы как нельзя лучше в качестве эпиграфа для моей статьи. С нее я начинаю и ей собираюсь закончить свое изложение.

Крупные литературные произведения создаются тогда, когда автор имеет и хочет сказать что-то значительное. Однако художественное творчество — не философия. Как известно, автор художественного произведения путем создания соответствующих образов облекает все "важное и значительное" в иносказательную повествовательную форму, так что перед читателем оказывается некий литературный ребус. Его еще нужно разгадать. Разгадка дается не всегда легко: иногда критики бывают в недоумении и долго спорят о том, что хотел сказать автор. Дело еще более усложняется, если автор почемулибо считает нужным умышленно завуалировать ход своих мыслей.

Как раз такой случай и имеет место в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Не потому ли эта книга — одно из замечательных произведений нашего времени — осталась мало замеченной среди читающей публики? О ней, как о запрещенной в СССР, немного покричали, но скоро забыли. Поэтому перед читателем и сейчас стоит задача: отделить шелуху искусственной маскировки от основного авторского замысла; и — это самое главное — понять, к чему относились слова умирающего автора: "Пусть знают".

У Булгакова были серьезные основания маскировать свои мысли: он надеялся таким образом протащить "несозвучное эпохе" произведение через советскую цензуру. Булгаков знал, с кем имеет дело: его слишком долго преследовали и упорно не печатали; а если и печатали, то бесцеремонно искажая его вещи. качестве иллюстрации могу на основании собственных наблюдений привести один характерный пример. В течение ряда лет я ежегодно ходил в Московский Художественный театр чудесную оригинале Булгакова В пьесу Турбиных". С каждым годом текст пьесы и смысловое ее значение менялись и становились все хуже. В последний (уже седьмой!) раз от первоначального булгаковского текста не

оставалось почти ничего, кроме имен действующих лиц. Зрелище стало настолько отвратительным, что я, как и многие другие, ушел после второго акта.

Так вот, повторяю, Булгаков знал, с кем имеет дело, и для защиты от цензуры постарался принять посильные предупредительные меры. Например, у него в романе по ходу действия ненеобычайными персонажи, сталкиваясь сверхъестественными явлениями, не выдерживают психического шока и повреждаются умом. Булгаков предусмотрительно страхует себя таким образом на случай, если его будут обвинять в мистицизме: мистические явления тут можно отнести и на счет больного воображения. Того же порядка и многие другие его ухищрения, не имеющие прямого отношения к основному содержанию романа. Так Булгаков старается придать своему произведению искусственное сходство с известной легендой о докторе Фаусте (в литературной обработке Лессинга и Гёте). Поскольку такое сходство явно "притянуто за уши", в романе порой получаются неувязки. Например, очень нелепо звучит предложение Воланда (Воланд - "Мефистофель" совсем не крупного калибра), сделанное литератору и лингвисту Мастеру: выращивать гомункула в колбе. Довольно странно выглядит также и эпиграф к роману "Мастер и Маргарита", взятый из "Фауста" Гёте: "Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла". Он никак не отражает затаенную мысль Булгакова и отнюдь не является ключом к расшифровке романа. Все это, как и многое другое, не более как военная хитрость: Булгаков маскирует под известное вольнодумство знаменитого немецкого поэта свое совершенно другое, даже прямо противоположное, мировоззрение. ("Фауст" Гёте охотно издают переиздают в СССР).

В прямую противоположность Гёте с его "Фаустом" Михаил Булгаков был церковно-верующим христианином. В надежде обойти советскую цензуру он ловко упрятал серьезное внутреннее содержание романа под якобы фантастической приключенческой оболочкой. Похоже на то, что при этом были введены в заблуждение и многие критики. Осуществляя свой замысел под дымовой псевдогётеанства, прикрытием завесы обычно. показал невидимую ктох вполне реально существующую, духовную подоплёку некоторых жизненных явлений, которые только таким образом и обретают свой настоящий смысл. В советской печати нельзя свободно высказываться на религиозные темы. Поэтому Булгаков действует "от противного": он демонстрирует убедительных живых на примерах, как Силы Зла, ополчившиеся против традиционных религиозных представлений, беззастенчиво подменяют религию — то ли вульгарным материализмом, то ли древней языческой философией, то ли чёрной магией. Не удивительно поэтому, что переполнен стихией различных мировоззренческих заблуждений, ереси и лжи, кем-то коварно выдаваемой за правду. Всё это сплетено в один клубок, а концы вместе с красной нитью авторского кредо спрятаны в воду.

Особая трудность расшифровки булгаковского литературного ребуса зависит ещё и от того, что сюжетный материал романа развивается одновременно в нескольких планах: то во сне, то на яву, то в страстных горячечных мечтах героев, то в их больном воображении. При этом далеко не всегда ясно, где, когда и почему одно переходит в другое. Так под названием "Бала у Сатаны" Булгаков с проницательностью Достоевского описывает сон психически неуравновешенной находящейся под действием какого-то наркотика (золотая коробочка Азазелло). Сон, дающий богатый материал для психоанализа. Как это часто встречается не только в Библии, но и в повседневной жизни, здесь отнюдь не исключено и прямое участие Тёмных Сил. Эти невидимые "участники", охотно прирожаются ко всякой душевной болезни, а зачастую бывают и причиной. Поэтому одержимость (бесноватость) иногда трудно отличить от обыкновенной психопатологии. У Мастера же и у Маргариты Николаевны налицо и то и другое. Причём в начале превалирует одержимость, а под конец — патология.

Трудным по-своему для понимания эпизодом является, между прочим, сцена с Воландом и Левием Матвеем на крыше Румянцевского музея. Что это: явь ли бесовского наваждения, мечтательное ли самовнушение свихнувшихся чернокнижников или просто некий мировоззренческий хульный помысел, естественное продолжение повести о Понтии Пилате? Во всяком случае — довольно неудачная каррикатура, имеющая целью

извратить правильное представление о Христе-Спасителе и Его ученике. При расшифровке романа естественно встречаются и другие трудные места, всего не перечтёшь.

Ребус есть ребус. Автор, сын своего века, приглашает читателя активно относиться к прочитанному и, следуя общему духу всей веши, самостоятельно восполнять неясности и пробелы. Булгаков умышленно стирает грани самых разнообразных явлений, подразумевая за всем одинаковую с духовной точки зрения реальность и одинаковую за всё ответственность человека перед Богом. Он по-своему прав: мы живём одновременно и своим внешним, и своим внутренним миром; а сумма этих двух равноправных слагаемых — и есть для нас реальная действительность.

Итак после этих многочисленных предварительных оговорок отбросим для ясности сразу ненужные по существу ссылки на "Фауста" и забудем об откровенно фальшивящем здесь эпиграфе из Гёте. Как увидим дальше, по содержанию романа к нему в качестве эпиграфа хорошо бы подошёл текст из Первого посл. ап. Петра: "Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш Диавол ходит, как лев рыкающий, ища кого поглотить".

Но разве роман с евангельским эпиграфом имел бы шанс пройти через рогатки советской цензуры?!

Перейдем теперь с лупой в руках к непосредственному рассмотрению, анализу и систематизации материала в умышленно запутанной автором фабуле. Перед нами не совсем обычная, унаследованная ещё от эпохи Романтизма структура литературного произведения: роман в романе. Герой булгаковского романа, так наз. Мастер, пишет свой собственный роман о Понтии Пилате, изложению которого в книге отведено более 85 страниц. Таким образом выходит, что рассмотрению подлежат не одно, а два отдельных и по началу как бы совершенно самостоятельных повествования: 1) Повесть, посвященая, так сказать, собственно Мастеру и Маргарите, их судьбе; и 2) Повесть о Понтии Пилате. Имея свою особую цель, Булгаков постепенно, незаметно и очень ловко объединяет и то и другое аналогичной идейной направленностью и общей сюжетной концовкой.

Первое из этих двух повествований, т.е. повесть,

посвященная собственно Мастеру и Маргарите, переносит читателя в самую гущу "нового советского общества". Диапазон всевозможных общественных группировок СССР чрезвычайно широк (от Тайной Церкви до "Лубянки" включительно). Из этого многообразия Булгаков берёт только один, особенно круг — круг более или менее преуспевающих московских обывателей-приспособленцев, безыдейных, беспринципных, для которых не существует проблемы Добра и Зла. При всём разнообразии занятий и профессий это — стандартные, штампованные материалисты, тупые атеисты и полные духовные кастраты. Как люди, морально дезориентированные, они готовы сожрать друг друга ради самого маленького кусочка иллюзорных жизненных благ. Нетрудно представить себе поэтому, какой превосходной питательной средой и в то же время какой лёгкой добычей все они являются для Нечистой Силы. Булгаков с шекспировским мастерством изображает, как бесы разного калибра, пользуясь своим мистическим преимуществом, спешат показать свою власть над духовными слепцами.

На примере Берлиоза, Ивана Бездомного, Лиходеева и других преждевременно торжествующий "Князь Мира Сего" имел бы некоторое основание утверждать, что человек создан по его образу и подобию. Но... "Но Князя не радует новая честь, исполнен он желчи и злобы..." — Дьявол не может быть спокоен, если существует область "Света", на которую не распространяется его власть (Воланд избегает слова "Бог"; термин "Свет" заимствован им из языческой так наз. неопифагорейской философской школы II — І века до Р.Х.). Заветная мечта всей Силы Вражией от мала до велика — соблазнить и "Малое Стадо" избранных. Но для этого нужны соответствующие активные помощники.

Квалифицированных помощников Воланд ищет и находит в узком и утонченном кругу. Среди тех беспокойных интеллектуалов, которые, подобно доктору Фаусту, увлекаются древней мудростью, оккультными науками, спиритизмом и волшебством. Из числа тех, кто спешит проникнуть в трансцендентный мир без лишних хлопот и проволочек — с заднего крыльца. Из числа деистов, рационалистов и других вольнодумцев всех мастей, для которых Филон Александрийский,

Плотин и Гностики авторитетнее Евангелия.

Так появляются на сцене Мастер и Маргарита. Кто они, что они? Булгаков скуп на формальную характеристику своих главных героев. О Мастере мы даже не знаем как его зовут. Он историк по образованию, бывший музейный работник, книжник и полиглот — знает шесть языков, "кроме родного". Совершенно очевидно, что этот родной язык Мастера русский. Но тем более странно звучит для уха привычного к евангельскому (русскому или славянскому) тексту, что все названия и собственные имена в повести Мастера о Понтии Пилате даны на древнееврейском (или арамейском) языке, так что с непривычки даже не всегда сразу поймешь, о чем или о ком идет речь. Может быть, Булгаков хотел таким образом подчеркнуть, что его герой трактует евангельские события отнюдь не в евангельском духе?

Выиграв сто тысяч рублей по лотерейному билету, найденному случайно (!) в корзине с грязным бельем, Мастер живет анахоретом одержимый, пишет как совершенно И, неприемлемый для христианского сознания роман, относящийся жизни Господа времени земной Иисуса Мастер изображении Булгакова является традиционно не верующим религиозным человеком в общепринятом смысле этого слова; он мистик-сатанист. Подобно доктору Фаусту он готов вступить в союз с потусторонними темными силами, набравшись, очевидно, оккультной мудрости в каком-нибудь мистическом кружке или сообществе, которых в первые годы революции и во время НЭПа расплодилось довольно много в Москве.

Не может ли вышитая желтым шелком буква "М" на маленькой засаленной шапочке Мастера ("с которой Мастер никогда не расстается") пролить некоторый свет на окружающие личность героя тайны? Боюсь, что нет. Маргарита Николаевна утверждает, что "М" — это только первая буква термина "мастер", что означает большой одаренный писатель. Однако сам Мастер в разговоре с Иваном весьма энергично такое толкование отвергает и подчеркивает, что он совсем не писатель, а "просто мастер". Как разобраться в этой, конечно, нарочитой, булгаковской тарабарщине. Ведь слово "мастер" может иметь несколько различных переносных значений. Так называют и

общепризнанного скульптора или живописца. Название "мастер" соответствует и степени масонского посвящения. А при случае этим неопределенным, но вызывающем невольное почтение термином спекулируют всякие шарлатаны. Маг и волшебник, "Граф Калиостро", дурачивший в XVIII веке праздное общество всей Европы, тоже именовался "Великим Мастером". Вопрос о том, что подразумевал герой булгаковского романа, называя себя "просто мастером", остается открытым на усмотрение читателя.

Ясно одно: еще до знакомства с Маргаритой Мастер был хорошо осведомлен о многом, что касается Тёмных Сил и очевидно не чуждался их. Он откровенно завидует Ивану, что Иван, а не он, Мастер, встретился с Воландом на Патриарших Прудах. Только на основании одного сбивчевого рассказа Ивана об этой встрече Мастер сразу опознал в Воланде сатанинское отродье (очевидно, здесь сыграл некоторую роль бриллиантовый треугольник на портсигаре "иностранца"). Читатели знают, что дальнейшие перипетии романа ставят все точки над "и": даже перед смертью Мастер охотно соглашается на предложение Маргариты обратиться за помощью в потусторонний мир и пьет за здоровье Воланда, которого он считает самим Сатаной.

Теперь несколько слов о Маргарите. Трудно найти что-либо более подходящее к Мастеру. И автор специально подчёркивает особое, роковое — чуть ли даже не врожденное — влечение этих двух лиц друг к другу. В романе это даже подано так, что такое необычайное, как будто бы заранее предчувствуемое обоими влечение, может быть вынесено ими из их общей предыдущей земной жизни (метампсихоза).

Вокруг Маргариты Николаевны автором создан ореол женского обаяния и таинственности. Может быть, для читателя и явится спорным вопрос, в какой мере она этого заслуживает? Но о вкусах не спорят. Мастер от неё в восторге. И неудивительно: кудрявая брюнетка, красива, умна, "с маленькой косинкой и непонятным огоньком в загадочных глазах". Маргарита видит "вение" сны И непоколебимо верит тесную В существующую между видимым и невидимым тёмным миром. Должно быть, именно поэтому автор с первых же слов называет её — ведьмой. И это отнюдь не в переносном смысле. Маргарита

без колебаний заявляет, что готова по нужде заложить душу Дьяволу, и в этом отношении они с Мастером — два сапога пара.

Женское имя "Маргарита" как будто бы не значится в православных Святцах. Но здесь мы вероятно опять сталкиваемся с попыткой Булгакова направить мысль советского цербера по ложному следу, по пути формально соблазнительной аналогии: Фауст — Маргарита, Мастер — Маргарита. В действительности у Маргариты Николаевны нет и не может быть ничего общего с Гретхен: Гретхен — невольная и случайная жертва Мефистофеля, а Маргарита Николаевна — целеустремлённая и даже восторженная поклонница Воланда. Антихристианское повествование Мастера о Понтии Пилате Маргарита приемлет с таким энтузиазмом, что учит отрывки из него наизусть и говорит, что в нём вся её жизнь. Всё это вполне достаточная характеристика.

Итак, главные действующие лица нам более или менее известны. Посмотрим теперь, что представляет собой каждое из двух повествований булгаковского романа, каково их идеалогическое направление и с какой затаённой мыслью они написаны.

В первом повествовании, посвященном преимущественно Мастеру и Маргарите Николаевне, прежде всего бросается в глаза полное замалчивание Промысла Божия, как будто бы его и вообще не существует. Другая резко обозначившаяся линия в повествовании необычайное преувеличение этом возможностей и вообще значения силы Зла. При этом и сам Воланд (бес не очень большого ранга, только разыгрывающий из себя Сатану), и его свита (мелкие бесы-хулиганы, воображающие себя рыцарями Зла) показаны, как довольно-таки славные ребята, которых порядочному человеку нет оснований бояться. Правда, они любят жестоко подшутить над теми, кто опустился духовно до животного состояния и кого они за это глубоко презирают; но зато покровительствуют тем, кто сознательно и охотно держат их сторону. При такой своеобразной концепции неустойчивому человекообразному существу довольно трудно разобраться, где кончается Добро и где начинается Зло. А бесам только того и нужно.

Из повествования о Мастере и Маргарите напрашивается вывод, что Бог, если Он где-то там и есть, так далек и высок, что не принимает прямого участия в мировом процессе; для этого существует Князь Мира Сего. В такой постановке вопроса чувствуются отголоски известных, очень древних религиознофилософских воззрений, корни которых уходят через позднеантичную Грецию (Александрия I — III веков) в глубину столетий на языческий Восток (Персия, Вавилон, Египет).

Другое повествование, роман Мастера из времен Понтия Пилата, направлено специально против христианства. Утверждать сейчас, как это делают большевики, что Иисуса Христа совсем не было (Берлиоз) довольно примитивно, поскольку историческое существование не только Спасителя, но и Понтия Пилата, более или менее научно установлено. Более тонкая антихристианская пропаганда допускает реальность Иисуса из Назарета, но не идентифицирует Его с Богочеловеком-Христом, что конечно тоже противоречит обязательной для каждого православного христианина формуле: "Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго".

Так появляется версия о безродном юродствующем философе, ставшем жертвой провинциальных интриг и судебной ошибки. В повествовании характерны и детали: Иуда отнюдь не сожалеет о содеянном и не кончает самоубийством; а о воскресении жалкого безумца, Иешуа Га Ноцри, конечно, не может быть и речи.

Великая неразбериха, отражающая очевидно разнобой многочисленных оккультных учений, царит в романе Мастера по вопросу о том, кто может прощать грехи. В одном случае это якобы Сатана по ходатайству Иешуа (прощение и награждение Мастера и Маргариты); в другом — Маргарита по указанию Воланда (Фрида); в третьем — Мастер по минутной прихоти Маргариты (Пилат).

Зато довольно определенно указана "добродетель", якобы покрывающая все, даже нераскаянные смертные грехи. Оказывается, это романтичность или романтизм главных героев. На пути языческих или неогностических заблуждений дальше илти некуда. Такая произвольная вольнодумная

концепция явно перекликается с очень модными в свое время домыслами рационалистов-просветителей и романтиков-штурмунддранговцев XVIII века* (литературный Фауст тоже ведь попал в Царство Небесное помимо Христа и покаяния, только за неистовое стремление к запретному плоду). Поэтому поводу хочется здесь еще раз подчеркнуть, что по смыслу романа "Мастер и Маргарита" такая еретическая концепция присуща только официальному автору повести о Понтии Пилате, т.е. Мастеру, но отнюдь не Михаилу Булгакову.

Заблудиться булгаковском романе, особенно В поверхностном чтении его, очень легко. Булгаков умышленно камуфлирует свои собственные мысли и симпатии в хитросплетениях времени, места и действия так, что даже не всегда ясно, от чьего лица ведется рассказ. Прочитав роман, нужно прежде всего мысленно выделить линии развития каждого отдельного самостоятельного направления в повествовании, чтобы разные эпизоды не перебивали и не заслоняли один защитный туман, напущенный Булгаковым другого. Тогда исключительно ради советской цензуры, начнет быстро рассеиваться. При этом сразу станет ясно, где нужно искать ключ к расшифровке булгаковской тайнописи. Этот ключ нужно искать не в фальшивящем эпиграфе из Фауста, а только и только в правильном ответе на главный вопрос: кто автор повести о Понтии Пилате?

По первому впечатлению (что за вопрос!) — конечно Мастер. Но не будем слишком торопиться с ответом, потому что в действительности это совсем не так. При внимательном, особенно повторном, чтении становится ясно, что повесть о Понтии Пилате сочинил совсем не Мастер, а его наперсник, посланец Сатаны — Воланд. Мастер только подставное лицо, одержимый переписчик чужого вымысла; а написанное им может быть просто результат хорошо известного спиритам и всем вообще оккультистам так наз. "автоматического письма". За доказательствами, хотя бы и косвенными, недалеко ходить. Начать с того, что в первой же главе, задолго до появления в

^{*} Хотя между рационализмом и романтизмом мало общего, но и тот и другой уходят своими корнями в секулярный гуманизм.

романе Мастера, Воланд уже рассказывает Ивану на Патриарших Прудах (и это десятки страниц) повесть о Понтии Пилате. Судя по известным нам отрывкам — слово в слово так, как писал Мастер. Авторский же приоритет Воланда, по замыслу Булгакова, здесь подтверждается тем, что он рассказывает о своих личных наблюдениях, о том, что он якобы сам видел своими глазами.

B противоположность Воланду Мастер откровенно признается, что пишет о том, "чего сам никогда не видал, но о чём он наверно знает, что оно так и было". Заметим, что Мастер тут не отстаивает своё, казалось бы, неотъемлемое право на художественный вымысел, а только прямо и уверенно заявляет: "знал наверно". Откуда же он мог знать? Конечно только от Воланда или по внушению Воланда. Не на указывает и такое обстоятельство: ещё задолго до окончания Мастером романа, не только он сам, но и Маргарита, почему-то знали и декламировали его последнюю заключительную фразу. Отрывки из романа знают и цитируют также и члены бесовской банды, соучастники Воланда (первая встреча Маргариты с Азазелло в Александровском саду). Разве всё это не достаточно убедительно говорит, что не Воланд заимствовал у Мастера, а Мастер у Воланда.

Этого мало. Убедительнее всего тот факт, что, когда Мастер возненавидел и сжег "свой" роман, Воланд предложил огорчённой Маргарите из своих собственных запасов несколько готовых целёхоньких экземпляров, да ещё иронически заметил при этом, что "рукописи не горят". Очевидно, он имел в виду свою оригинальную рукопись, а отнюдь не сожженную уже Мастером "копию".

Люди нашего времени могут на каждом шагу убедиться в исполнении одного из самых страшных пророчеств Священного Писания: "Я видел Сатану спадшего с неба, как молния" (от Луки X, 18). Мы живём в эпоху массовой бесноватости, когда духовная атмосфера во всём мире до предела насыщена бесовщиной. Отсюда все качества: Воланд, один из многих, очутился со своей бандой в Москве.

Однако Воланд не идёт ни в Кремль, ни на Лубянку, где уже действуют другие, вероятно, подобные же, группы; по его

собственному выражению он не занимается тем, что относится к "другому ведомству". У Воланда есть своя, совсем особая и весьма "ответственная" миссия: Воланд специализируется на разложении христианского религиозного мировоззрения изнутри. По существу это, конечно, та же линия борьбы против "Святой Руси", которой так усердно, но не всегда успешно, занимаются чекисты, только осуществляемая другими методами. Вместо террора (или в дополнение к нему) Воланд намеревается использовать ложную версию Евангельских Событий, облечённую в литературно-художественную форму. Этот сатанинский план должен быть реализован рукою Мастера.

Таков ясный смысл (и реальный, и символический) булгаковского романа как бы ни хотелось некоторым истолковать его иначе.

Земная биография Мастера, как мы знаем, заканчивается его арестом. Однако Мастер попал не в ту известную по времени очередную полосу арестов, когда Чрезвычайка начала специальную акцию против тайного духовенства, масонов, спиритов и чернокнижников. Мастера погубил донос Алоизия Магорыча, которому понадобилась жилплощадь; а также и вполне естественная для советских нравов тенденция власть имущих — отобрать у случайного счастливца его слишком большой выигрыш.

Мастера забрали куда следует, и по традиции "самого демократического государства в мире" сделали с ним нечто такое, что там принято делать с подследственными. Даже Воланд был удивлён, "как его там отделали". В результате Мастер окончательно сошёл с ума и оказался в сумасшедшем доме, из которого он физически так и не вышел до самой смерти.

Уже в больнице Иван Бездомный допытывается у Мастера, что было дальше с Иешуа и Пилатом. Но Мастер не в состоянии удовлетворить его любопытство и только многозначительно говорит, что Воланд, конечно, мог бы рассказать об этом лучше него. И Воланд, как мы знаем, действительно рассказывает (уже после смерти Мастера).

К концу книги повествование о Мастере и Маргарите как-то незаметно для читателя совершенно сливается с повестью о Понтии Пилате. Таким образом становится особенно ясно, что и

то и другое — не два самостоятельных произведения, а одно, задуманное Воландом или его "патроном" как нечто целое. Врозь они не имели бы никакого значения. В конце книги рассказывается о последней встрече Иешуа и Понтия Пилата с его собакой в Царствии Небесном (?!), где Воланд репрезентирует себя тоже почти полновластным хозяином. Рассказывается там и о некоторых загробных похождениях неразрывных любовников.

Кто может это всё знать (или претендовать на то, что знает)? Конечно, только тот, от кого исходил весь материал с самого начала, т.е. — Воланд. Да ведь об этом так прямо и сказано в тексте: вспомним последний загробный разговор Воланда с Мастером. Сожалея, что роман Мастера остался недописанным, Воланд с большой готовностью предлагает сам сейчас же восполнить этот пробел и сообщить всё о дальнейшей судьбе всех теперь уже сюжетно неотделимых друг от друга героев.

На этом роман Михаила Булгакова, вскрывающий козни Зла и трагичную глубину людских заблуждений, приходит к концу. Пора и нам подвести некоторые итоги.

Замечательный роман "Мастер и Маргарита", которому ещё предстоит большое и славное будущее, посвящён извечной проблеме Добра и Зла. Не имея возможности говорить прямо о борьбе Добра со Злом, Булгаков берёт только узкую и не такую рискованную тему борьбы Зла против Добра. В земных условиях эта борьба идёт с переменным успехом.

Для Булгакова, истинного патриота и духовного наследника своего отца — профессора богословия — соль земли (особенно родной земли) — в христианстве. Показывая на ярких примерах жизненные ситуации, благоприятствующие временным успехам Зла, автор предостерегает таким образом читателя от роковых непоправимых ошибок.

В сокровенной основе романа можно усмотреть три главных идеологических положения, никогда и нигде не терпящих злободневной остроты. Во-первых, автор хочет сказать, что *трусость* — самый страшный порок, потому что она очень часто заставляет людей уклоняться от Истины. Во-вторых, что *отказавшись от Бога Истины*, человек неизбежно становится послушным орудием и игрушкой в руках Темных Сил. И, втретьих, что всякая попытка исказить Евангельскую Историю

или хотя бы только замутить чистоту христианской религиозной доктрины — $\partial e no$ Дьявола. Скрупулёзный анализ умышленно запутанной структуры романа заставляет думать, что как раз именно к этим трём основным положениям и относились слова умирающего автора: "Пусть знают".

В заключение хочется сказать, что после опубликования этого романа за границей Советы, скрепя сердце, были вынуждены напечатать эту книгу и у себя. При этом они по своему обыкновению изрядно выхолостили её содержание, вычёркивая иногда не только отдельные страницы, но и целые главы по политическим соображениям. Однако предусмотрительность мудрого автора всё-таки сыграла некоторую роль. Цензура, не раскусив духовного смысла романа, прошлась красным карандашом главным образом по тем местам, где Булгаков высмеивает советские порядки. А несравненно более опасная для безбожников сокровенная суть осталась.

П.Д. Ильинский

Я СОБАКА

Духи сна меня в собаку Превратили на минутку. Сразу бросился в атаку И поплыл за дикой уткой. Чувствуя утиный запах Я хвостом в воде виляю И гребу в четыре лапы, Хочется, но я не лаю. Перед носом не охотно Утка хлопнула крылами Мне досадно за полетом Жадными следить глазами. Плохо видя эту сценку, Открываю шире веки — Небо превратилось в стенку А собака в человека.

А. Величковский

И возможно ли русское слово Превратить в щебетанье щегла, Чтобы смысла живая основа Сквозь него прозвучать не могла?

Н. Заболоцкий

Неужели же нет первозданных, осмысленных слов? Неужели же в сущности все оказалось неверным? Даже месяц, что плыл меж березовых белых стволов, Был подвешен на нитке, раскрашенным был и фанерным.

Неужели же нет первозданных, осмысленных слов, Чтоб пресыщенный мозг задевали и били по нервам? Неужели все было игрой? И всего-то делов, Что, взойдя на подмостки, кривляться фигляром манерным?

Неужели же нет первозданных, осмысленных слов, И всего-то делов, что ночами торчать по тавернам У залитых вином и запачканных пеплом столов, И заумные вирши гундосить каким-нибудь стервам?

Неужели же нет первозданных, осмысленных слов, И всей жизни улов оказался до жути мизерным? И со свалок журнальных гремит щебетанье щеглов, И бездарная заваль себя называет модерном!

Неужели все кончится бредом горячих голов, Тех, что мир оглашают не словом, а ревом пещерным, И подобно саркомам, гангренам и гнойным кавернам Ополчились на плоть первозданных, осмысленных слов!

Иван Елагин

СОПЕРНИК ЛИ ПОЭТУ ЕГО ПЕРЕВОДЧИК?

Уже живя на Западе, я не раз слышал и читал утверждения о том, что так называемая "советская школа перевода" — явление выдающееся, как выдающимся являются и ее достижения. Это утверждают не только те, кто имеет обыкновение хвалить все советское, дабы (не дай Бог!) не прослыть "реакционерами", "правыми", но и люди серьезные, объективные.

В доказательство они называют "Божественную комедию" Данте в переводе М. Лозинского, "Гаргантюа и Пантагрюэля" Рабле в переводе Л. Любимова, "Дон Жуана" Байрона в переводе Т. Гнедич, "Песню о Нибелунгах" в переводе Ю. Корнеева и другие английские, немецкие, французские, испанские жемчужины классической литературы, прекрасно переведенные на русский язык. Они указывают также на образцовые работы русских теоретиков перевода, появившиеся в советские годы, такие, как "Проблемы художественного перевода" М. Алексеева, "Высокое искусство" К. Чуковского, "О художественном переводе" и "Введение в теорию перевода" А. Федорова, "Поэзия и перевод" Е. Эткинда. Упоминается также серия сборников "Мастерство перевода", в которых было опубликовано немало глубоких статей.

Это — факты. Оспорить их невозможно.

Но почему же тогда советские журналы переполнены переводными стихами, похожими на подстрочники, и такой переводной беллетристикой, стиль которой вызывает в памяти язык Трике и Вральмана? Почему из подобных же "шедевров" составляются многочисленные тематические и национальные сборники, все эти "Радуги", "Дружбы" и "Верности"?

Ответ прост и грустен: потому что советское переводческое дело подчиняется тем же правилам, что и вся советская жизнь. Многие уже знают, как действуют эти правила в советской технике: военные и зарубежные заказы отдаются для исполнения на лучшие заводы и лучшим рабочим, которые не "филонят" и не "гонят брачок", что нередкость при выполнении заказов, предназначенных для "простого советского потребителя". Совсем также чиновники от литературы распределяют заказы на переводы и оценивают "самотек" (то есть переводы, сделанные по инициативе самих переводчиков, без предварительной договоренности с публикующими организациями). Они отлично знают, что те произведения, вокруг появления которых советском книжном рынке можно будет организовать повсеместную оглушающую трескотню "о новых выдающихся советской переводческой школы," должны достижениях переводиться мастерами, а те переводы, которыми никто, кроме "простого советского читателя", не заинтересуется, можно отдать брату, свату, взяткодателю, собутыльнику, случайно подвернувшемуся "деятелю", который в неутолимой жажде "подхалтурить" всегда вовремя (как раз перед соответствующим юбилеем) окажется под рукой.

При господстве таких правил совершенно невозможно себе представить, чтобы перевод, например, "Песни о Роланде" заказали лицу, не знакомому с языком и культурой Франции эпохи Карла Великого, а поэзию Томаса Элиота переводил человек, поверхностно знающий английский язык. И в то же время не только можно себе представить, но даже можно взять в руки множество сборников болгарской, сербской, румынской (я уж не говорю об украинской, белорусской или казахской) поэзии, переводчики которых не в состоянии прочитать ни строки на том языке, с какого они переводят. Да и нет такой редакции, нет такого редактора, который бы предположил, что переводчик с так называемых "языков братских народов" может эти языки знать!

Никогда не забуду как изумился один из долголетних сотрудников московского журнала "Знамя", когда, получая болгарские стихи для перевода, я отказался от подстрочника. "Впервые вижу человека, знающего болгарский!" — растерянно

сказал он. Также удивились и многоопытные шоферы, встречавшие на ташкентском аэродроме русских переводчиков узбекской поэзии, когда один из них заговорил по-узбекски.

Конечно, в любой советской статье о стихотворном переводе можно прочитать, что переводчик стиха должен быть и талантливым поэтом, и образованным лингвистом, и внимательным стилистом, однако на практике обычный редактор обычного журнала требует от перевода лишь одного — "чтобы звучало по-русски".

Мне могут возразить, что "обычный редактор обычного журнала" предъявить какие-то иные требования к переводу просто не в силах, ибо он не может знать все те языки, с которых печатаются в его журнале переводы. На это я отвечу, что тот же редактор прежде, чем печатать статью на малоизвестную ему тему (даже если статья "по-русски звучит"), непременно заручится мнением специалиста.

Есть и другой способ оценки перевода. Мне пришлось познать его на собственном опыте еще лет 13 - 14 назад. Тогда я принес в журнал "Новый мир" свои переводы трех стихотворений болгарского поэта Веселина Ханчева. Я уже добрых два десятка лет имел дела с редакциями, но публиковать переводы еще никогда не пытался. К каждому листку с русским текстом я подколол подлинник и очень удивился, когда меня попросили оставить только перевод.

Однако вскоре мне позвонили из редакции и попросили немедленно принести болгарские оригиналы. Твардовский, мол, главный редактор журнала, готовится к приему каких-то высокопоставленных болгар и вот, дескать, заинтересовался... Когда я пришел в редакцию, секретарша, вместо того, чтобы просто взять тексты, препроводила меня к Твардовскому. Александр Трифонович знал меня давно, еще по ИФЛИ, где я (студентом первого курса) и он (аспирантом последнего) писали рефераты о творчестве одного и того же поэта у одного и того же профессора. Последний раз мы говорили с Твардовским около полутора десятков лет до этой встречи в кабинете "Нового мира" — на торжествах по поводу 50-летия со дня смерти Льва Толстого.

Впрочем, ни о чем, кроме как о болгарской поэзии,

Твардовский в этот раз не говорил. Задав несколько вопросов о личности Веселина Ханчева и характере его поэзии, он попросил меня прочитать его стихотворения по-болгарски. Я стал читать, а он, глядя в русский текст, внимательно следил за интонациями. Затем попросил меня перевести несколько строк слово за словом.

Не знаю подлинной причины этого поступка, не знаю, часто ли Александр Трифонович проделывал подобные эксперименты (при том, что к переводной поэзии интереса он проявлял немного, думаю, что случай этот — редкий), и хочу здесь лишь отметить, что тот простой и безошибочный способ определения качества стихотворного перевода, какой он использовал, не применяется в Советском Союзе никогда и никаким редактором.

Знание переводчиком (в том числе и переводчиком поэзии) языка подлинника — азбучное требование. Это понимают все серьезные переводчики (не случайно они переводят только с одного-двух хорошо им знакомых языков), и этого не понимают (или не хотят понимать?) советские чиновники от литературы, редакторы и так называемые "поэты-переводчики", которые, употребляя их выражение, "работают с любым языком — по подстрочнику".

Конечно, субъективные мотивы таких людей — не обязательно рвачество, стяжательство; эти мотивы могут быть даже весьма благородными. Например, один из самых активных "переводчиков без знания языков" Борис Слуцкий, поведал читателям свое кредо даже в стихотворной форме:

Перевожу с монгольского и польского, С румынского перевожу и финского, С немецкого, а также и с ненецкого, С грузинского, но также с осетинского. Работаю с неслыханной охотою Я только потому над переводами, Что переводы кажутся пехотою, Взрывающей валы между народами. Но вы, глашатаи идей порочных, Любой земли фразеры и лгуны, Не суйте мне, пожалуйста, подстрочник

Не будете вы переведены.

Пучины розни разделяют страны, Дорога нелегка и далека. Перевожу,

как через океаны,

Поэзию

в язык

из языка.

Однако независимо от того, благородны или низменны субъективные мотивы такого переводчика, перевод по подстрочнику объективно всегда является и обманом читателя (поскольку тот наивно предполагает, что перевод сделан с оригинала), и творческой неудачей (поскольку таким путем воспроизвести оригинал возможно только случайно).

Число и разнообразие ошибок, возникающих при переводе по подстрочнику, огромно, ошибки эти были многократно подвергаемы не только осмеянию и анафеме, но и классификации. Все же я позволю себе привести здесь один пример, так как подобного типа ошибки, кажется, никем не отмечались.

Я имею в виду ошибку, которая была допущена М. Кудиновым при переводе стихотворения В. Ханчева "Романсеро о Хосе Санчо". М. Кудинов много переводит современную французскую поззию, но также работает и в области славянских языков, хотя имеет о них самое поверхностное представление. Автор написал "Романсеро" классически-правильным хореем, однако, разделив графически (только графически!) 48 четырехстопных строк на 58 неравностопных (от одной до шести стоп в строке), он придал стихотворению "модерную внешность". Кудинов же, переводивший "Романсеро" в период усиленной работы над сборником Жака Превера (написанным сплошь свободным стихом) и не знающий болгарского языка, оказался обманутым внешностью оригинала и придал своему переводу такой рваный и почти истерический ритм, который полностью изменил спокойное, печальное, даже тоскливое звучание ханчевского стихотворения. Не обратил внимания переводчик и на название оригинала - "Романсеро о Хосе Санчо", которое могло бы заставить его вспомнить ритмические

традиции испанского романсного стиха.

Любой переводчик, умеющий прочитать болгарский текст "Романсеро", услышал бы ритмическую константность его строк и не поддался бы "графическому обману". Однако человек, работающий по подстрочнику, совершенно лишен такой возможности: пусть он — талантливый поэт, пусть (как это встречается) он владеет основами знаний теории стиха, его представление об оригинале, который ему предстоит перевести, — самое общее, самое туманное. "Посмотрим-ка, что за стихотворение мне надо сегодня переводить..." — говорит себе такой переводчик и берет в руки... нет, отнюдь не иноязычный оригинал, а описание этого оригинала, сделанное человеком, хотя и знающим оба языка, но обычно не обладающим ни поэтическим чутьем, ни даже квалифицированным знанием поэзии.

Таким образом, переводчик по подстрочнику находится в положении художника, рискнувшего написать портрет человека, которого он никогда не видел и знает о котором лишь самые общие его приметы — голубые глаза, каштановые волосы, прямой нос и т.д. Любопытно, захочет ли кто-нибудь из поэтов, от дающих свои поэтические детища для перевода по подстрочнику, чтобы именно таким способом был написан портрет его ребенка? Не думаю.

Впрочем, довольно о подстрочнике, тем более, что для воспроизведения иноязычного стихотворения на другом языке совсем недостаточно знать языки: поэтический перевод такое сложное, точное и специфическое дело, что для его осуществления необходимы и подлинное искусство и подлинная наука.

Еще в начале века В. Брюсов утверждал это без малейших колебаний. "Едва ли надобно разъяснять, — писал он, — что каждое искусство имеет две стороны: творческую и техническую... Почему скульпторы учатся по нескольку лет, изучая перспективу, теорию теней, упражняясь в этюдах? Почему никому не приходит мысль писать симфонию или оперу без соответствующих знаний и почему никто не поручит строить собор или дворец человеку, не знакомому с законами архитек-

туры?"¹

Но если мы требуем от скульптора знания анатомии, а от композитора — теории гармонизации, то переводчику должно вменить в обязанность знание филологии — в самом широком ее объеме — к тому же в применении к обоим языкам, с которыми он имеет дело.

Если речь идет о переводе, например, сербского стихотворения на русский язык, то его переводчик должен уметь посмотреть на это стихотворение и глазами русского, и глазами серба, а для этого он должен знать, какова сербская земля, какова ее история и ее современная жизнь, что за люди сербы, каковы их обычаи и чаяния.

Он должен знать сербский язык так, чтобы четко представлять себе сходство и различие сербской и русской речи с лексической, морфологической, синтаксической, семанти-ческой и других точек зрения. Он должен знать сербскую литературу и, в частности, сербскую поэзию, их историю в соотношении с историей русской литературы и русской поэзии. Он должен понимать, что при всем сходстве сербской и русской метрики, ритмики, строфики и прочего перед ним — две различные стиховые системы, и, даже если он основательно изучил "Стилистику и стихосложение" Б. Томашевского, "Тех-нику стиха" Г. Шенгели, "Теорию стиха" В. Жирмунского, "Теорию стиха" Л. Тимофеева, ему совсем нелишне будет познакомиться с книгами о сербском стихе.

Перед переводчиком, приступающим к работе над новой для него иностранной поэзией, всегда должен стоять пример В. Брюсова, который несмотря на широту своей общей культуры, поэтическое дарование и знание законов стихосложения, приступил к работе над переводами армянской поэзии только после специального изучения армянской филологии, армянской литературы, армянской истории, а также после путешествия по Армении, которое позволило ему увидеть и развалины древних центров национальной культуры, и современную жизнь страны, позволило завязать личные отношения с армянскими поэтами,

І.В. Брюсов, Собрание сочинений в 7 томах, т. III, Москва, "Ху-дожественная литература", 1974, стр. 457-458.

журналистами, учеными, общественными деятелями.

Только переводчик, чувствующий себя свободно в иноязычном материале, может рассчитывать на полноценное воссоздание на своем языке выбранного им иноязычного оригинала. Но и здесь перед ним подлинно исследовательская работа, и она будет заключаться не только в том, чтобы изучить само подлежащее переводу произведение, его идеи и форму выражения этих идей, но и в том, чтобы изучить особенности мировоззрения и всего разнообразия художественных средств поэта, написавшего это произведение. Переводчик должен не только глубоко понять то, что автор сказал, но и твердо знать, что этот автор мог бы сказать, а чего он сказать не мог бы ни в коем случае.

Если переводчик имеет смутное представление о творческом облике автора, которого он взялся переводить, никакое знание языка не поможет ему создать полноценный перевод. Именно это произошло с Маргаритой Алигер, когда она взялась за перевод Веселина Ханчева. Легкомысленно решив, повидимому, что всякий болгарин несет в себе черты патриархального крестьянина, она произвольно ввела в лексику этого городского, выросшего в семье потомственных интеллигентов и впитавшего культуру России и Франции поэтачителлектуала такие инородные для него слова, как "хлебушко", "с устатку" и т.д. Читаешь такой перевод и видишь перед собой эпигона некрасовской школы.

Вообще переводчик всегда должен помнить, что "художественность", "поэтичность" не является чем-то неделимым и непознаваемым, чем-то подобным декартовскому невидимому эфиру. Это весьма сложный комплекс взаимодополняющих в воздействии на сознание и воображение читателя элементов, которые скорее можно сравнить с молекулами и атомами, вполне доступными и для наблюдения, и для их выделения в чистом виде, и для их воссоздания.

Из множества этих элементов каждый поэт выбирает для своей работы те, которые наиболее близки его творческой индивидуальности, и сочетает их между собой тоже в соответствии со своим вкусом. Дело переводчика — разъять стихотворение на эти элементы, познать закономерности их

соединения и, найдя подобные же элементы в своем собственном языке, соединить эти элементы в соответствии с найденными закономерностями. Результатом будет новое стихотворение, подобное исходному.

В моем пересказе достижение этого результата кажется очень простым. В действительности это совсем не так. Начать с того, что не все языки имеют одни и те же элементы и не во всех языках принципы соединения элементов одинаковы. При том одни и те же (казалось бы, одни и те же) элементы в разных языках выражают отнюдь не всегда одно и то же. При работе над переводом почти сразу же возникает необходимость что-то заменить, а нередко чем-то поступиться. Это неизбежно. Надо только уметь поступиться именно наименее важным элементом стиха. Здесь-то переводчику и понадобятся те разнообразные знания, о которых говорилось выше, ибо "наименее важный элемент стиха" не является величиной постоянной.

Для одного поэта самое важное — афористическое выражение мысли и тогда можно поступиться, например, даже ритмической адэкватностью, для другого важна музыкальная архитектоника, эмоциональная насыщенность стиха, разговорная интонация, игра на рифмах и аллитерациях, цветовая гамма и т.д. и т.д.

Но даже вполне поняв степень обязательности каждого из элементов стиха не только в данном стихотворении, но и в поэзии его автора вообще, пожертвовать "наименее важным элементом" совсем не просто, ибо стоит только его изъять, как его потеря автоматически вызовет изменения в соотношениях прочих элементов. Происходит это потому, что все элементы стиха — смысл и порядок слов, длина слова и стопа, ритм и звук — неразделимы в такой степени, что даже определить границу между формой и содержанием просто невозможно. Недаром же говорят, что поэзия — искусство которая является синтетическое (B отличие OT прозы, аналитическим искусством).

Именно поэтому при изменениях формы стиха он просто перестает существовать, умирает, и от него остаются только тленные останки, точно так же, как умирает всякое живое существо, если основательно изменить, растянуть или сдавить

форму, которую оно получило при рождении.

Чтобы оригинал в руках переводчика "не умер", тот должен после каждой замены одного элемента другим непременно примериться, не отдалила ли эта замена его перевод от оригинала, одинаковые ли эмоции вызывает у читателя перевод В этом он подобен художнику который, сделав мазок кистью, отходит шаг. на не отличается ли восприятие его картины восприятия оригинала. Постоянное стремление равняться на оригинал, обязательная оглядка на заложенную мысль и на способ выражения этой мысли (которые являются не своими, а принадлежат другому автору) естественно ограничивают личную инициативу переводчика и ставят его по отношению к автору в подчиненное положение. Таков закон профессии.

Когда переводчик не хочет смириться со своей подчиненностью и вместо того, чтобы сделать перевод максимально адэкватным оригиналу, пытается чем-то перещеголять этот оригинал, его непременно постигает неудача: нельзя быть католиком больше, чем папа. Именно такая неудача не раз постигала, например, Виктора Виноградова, старавшегося в своих переводах модернизировать самых классических по языку и стихотворной форме поэтов: "бьющийся в траве зеленый сок" он превращает в "звень сока", "мелькнувшие верстовые столбы" — в "широту дистанций", про "живших в трудное время" говорит, что они "не играли с судьбою в бирюльки", про "самоотверженных", что они "надрывали жилы", а про "глубокие мысли", что "мысли врубаются в тело". Во всех этих заменах присутствует снисходительность переводчика к автору, его постоянное желание улучшить оригинал.

Надо сказать, что в этом стремлении В. Виноградов далеко не одинок. Множество его единомышленников с удовольствием повторяют слова Жуковского о том, что переводчик в прозе — раб автора, а переводчик стиха — соперник автору. Однако, сколь ни эффектно звучит этот афоризм, в наше время он неверен: хороший переводчик — не раб автора-прозаика, а переводчик стиха просто не имеет права соперничать с авторомпоэтом.

В сущности, когда мы говорим о переводе, мы имеем в виду

нечто отличное от того, что имел в виду в этом случае Жуковский. Во времена Жуковского функция переводчика считалась выполненной, если он открывал русскому читателю новое имя иноязычного поэта, давая в своем переложении его стихов представление об основных чертах облика этого поэта. Однако уже в последней четверти XIX в. многим стало ясно, что переводчик должен стремиться к претворению на своем языке максимального числа особенностей оригинала. Символисты, придав русскому стиху невиданную до них гибкость, доказали практическую возможность точного перевода на русский язык самых тонких особенностей иноязычной поэзии и потребовали от перевода, чтобы он совпадал с оригиналом и по содержанию, и по духу, и по форме. С теми же требованиями подходят к персводу и в наше время.

Конечно, не всякое стихотворение может быть переведено идеально — даже если над ним работает "идеальный" переводчик. Но после нескольких попыток — иногда более интенсивных, иногда совсем кратких непереводимость стихотворения непременно становится для переводчика очевидной. И тогда уже дело переводчика решить, достаточно ли будет та степень близости перевода к оригиналу, которой возможно достичь, чтобы перевод имел право на публикацию, или ему надлежит лишь послужить профессиональному совершенствованию профессионального мастерства переводчика.

Впрочем, возвратимся к творчеству Жуковского. Взглянем на него взглядом современного читателя. Какие чувства мы испытаем при этом? Прежде всего — восхищение и даже удивление виртуозностью поэта, с какою он умел сплавлять воедино русские стихотворные и общекультурные традиции с новейшими для его времени достижениями западноевропейской поэзии. Но, высоко оценивая баллады и элегии Жуковского, мы не относимся к ним как к достижениям переводческого искусства, а воспринимаем их как оригинальные произведения поэта.

Ведь даже сам принцип работы Жуковского-переводчика для читателя, знакомого с переводами последних десятилетий, неприемлем: если оригинал не соответствовал вкусам или

взглядам Жуковского, он, ничтоже сумняшеся, отступал и от его формы, и от его духа. Он мог, например, перевести прозу стихами, выпустить неугодные ему строки, дописать отсутствующие в оригинале, кардинально изменить метр, строфику, характер рифм и т.д. Даже когда оригинал отвечал главным эстетическим требованиям Жуковского, он, как правило, накладывал на него хотя бы несколько своих собственных мазков — чтобы сделать картину еще более близкой себе.

Любопытно в этом смысле одно сравнение, которое произвела М. Цветаева. Она сравнила балладу Гете "Лесной царь" с ее переводом, сделанным Жуковским. Оговорившись, что немецкий текст заключает в себе несколько бесспорно непереводимых слов и выражений, и оставив их за пределами своего исследования, М. Цветаева скрупулезно проанализировала все прочие изменения, допущенные переводчиками. В результате она убедительно доказала тенденциозность этих изменений, благодаря которым мы имеем по существу два разных стихотворения.

"Но не только два "Лесных царя", — по мнению М. Цветаевой существуют для читателей, — Лесных царя тоже два: безвозрастный жгучий демон и величественный старик; и отца два: молодой ездок и опять-таки старик (у Жуковского два старика, у Гёте — ни одного).

Две вариации на одну тему, два видения одной вещи, два свидетельства одного видения, каждый увидел из собственных глаз.

Гете — из черноты своих огненных — увидел, и увидели мы с ним. Наше чувство: как это отец не видит?

Жуковский — из своих карих, добрых, разумных — ne увидел, не увидели и мы с ним. Поверил в туман и ивы. Наше чувство — как это ребенок не видит, что это ветлы?

У Жуковского — ребенок погибает от страха.

У Гете от Лесного царя.

У Жуковского — просто. Ребенок испугался, отец не сумел успокоить, ребенку показалось, что его схватили (может быть, ветка хлестнула), и из-за всего этого показавшегося ребенок достоверно умер.

Лесной царь Жуковского бесконечно добрее; к ребенку добрее — ребенку у него не больно, а только душно; к отцу добрее — горестная, но все же естественная смерть; к нам добрее — ненарушенный порядок вещей. Ибо допустить хотя бы на секунду, что Лесной царь есть — сместить нас со всех наших мест.

И само видение добрее: старик с бородой, дедушка. Даже удивляешься, чего ребенок испугался?

Страшная сказка на ночь. Страшная, но — сказка. Страшная сказка нестрашного дедушки. После страшной сказки все-таки можно спать.

После страшной гетевской несказки жить нельзя. Холоднее, величественнее, ирреальнее. Видение Гете целиком жизнь или целиком сон, все равно как это называется — дело не в названии, а в захвате дыхания."

В своей статье М. Цветаева высоко оценивает балладу Жуковского как произведение поэзии, но настойчиво подчеркивает, что оно не повторяет, не имитирует оригинал, а лишь является его вариантом. Между тем, переводчик обязан преподнести читателю произведение тщательно и скрупулезно имитирующее оригинал. Именно поэтому в современном переводческом деле даже блестящий и тщеславный поэт, принимая звание переводчика, тем самым теряет право соперничать с автором — хотя они оба работают над созданием как бы одного и того же произведения.

Впрочем автор создает это произведение с помощью вдохновения и умения, переводчик — с помощью умения и вдохновения; автор — по собственным впечатлениям, а переводчик — воспроизводя впечатления автора; автор — из собственного материала, а переводчик — из материала автора или из материала, имитирующего материал автора.

Ведь никто не назовет актера соперником драматурга, пианиста — соперником композитора, а реставратора картин — соперником художника. И актер, и пианист, и реставратор могут быть мастерами своего дела, могут довести свое мастерство до виртуозности — и все же это будет виртуозность актера,

²М. Цветаева. Проза, 1979, Нью-Иорк, "Руссика", стр. 317-318.

пианиста, реставратора, а не виртуозность драматурга, композитора, живописца.

Переводчик тоже может достичь виртуозности; больше того, он как всякий мастер должен стремиться быть виртуозом, но именно виртуозом-переводчиком, а не виртуозом-поэтом. Ибо если он проявит себя как виртуоз-поэт, это будет значить, что он отступился от автора, которого взялся переводить, и занялся популяризацией собственной персоны. В этом случае и результатом его работы будет не перевод стихотворения, а создание по его мотивам своего собственного стихотворения.

Подобное qui pro quo происходит нередко, и случается оно обычно с теми, кто, чрезмерно ценя свое дарование, свысока относится и к профессиональным знаниям, и к дарованиям других (в том числе поэта, которого они берутся переводить). При первой же трудности в воссоздании какой-то особенности оригинала (которую при уважении к чужому тексту и при понимании специфического отличия между работой над оригинальным произведением и работой над переводом, вполне можно было бы преодолеть) они пасуют, отказываются от воссоздать чужое, создают свое, оправдывают свое неумение или малодушие стремлением улучшить слабый оригинал.

Сколько раз приходилось мне слышать от таких переводчиков пренебрежительные отзывы о "переведенном" авторе, который якобы должен быть по гроб жизни благодарен за сделанные переводчиком "улучшения". Оставя вопрос о благодарности авторов (которые иной раз, действительно благодарны, даже понимая, что перевод плох — надеясь, что громкое звучание имени переводчика создаст рекламу его произведению, а то и просто радуясь приобретению новой аудитории) на совести авторов, следует сказать, что читатель-то уж ни в коем случае не может быть благодарным: ведь прочитав подобный перевод, он так и не узнает того иноязычного поэта, которого хотел узнать, а лишь убедится (и это в лучшем случае), что знакомый ему переводчик — действительно поэт.

Для читателей нет никакой разницы, ухудшил переводчик оригинал или улучшил: в обоих случаях он его исказил. Читатель, не знакомый с языком поэта, прочитав перевод,

улучшающий оригинал, столь же далек от подлинного познания поэта, как и читатель, прочитавший перевод, ухудшающий оригинал. Нужны какие-то исключительные обстоятельства, чтобы читатель обнаружил, что он просто-напросто обманут.

Например, один знакомый мне любитель кавказской поэзии, сравнив переводы двух даргинских народных песен, сделанные в середине прошлого века Афанасием Фетом, с современными переводами Наума Гребнева, объяснил ошеломившую его разницу слабостью Фета-переводчика, поскольку у Гребнева была репутация "крупного специалиста по переводу фольклорных произведений". Между тем, А. Фет был совсем невиновен.

Мой знакомый пребывал в заблуждении до тех пор, пока случайно ему не попались на глаза гребневские переводы с киргизского. Обнаружив, что киргизская народная поэзия подозрительно похожа на даргинскую, он заинтересовался переводческой деятельностью Н. Гребнева вообще и увидел, что предприимчивое перо "специалиста" "сблизило" с даргинской народной поэзией также народную поэзию киргизов, грузин, таджиков, армян... Даже болгарская поэзия стала у Н. Гребнева отличаться от балкарской не больше, чем звучание самих этих названий.

"Народные песни, народные эпосы и прочие народные "жемчужины слова" уже при смерти и никого не интересуют, — объяснил сам переводчик. — Чтобы на них хоть кто-то обратил внимание, я вливаю в них молодую кровь современного языка и современной образности". Что ж, объяснение в дуже времени, которое любое варварство научилось объяснять соображениями гуманности!

Конечно, в действительности дело обстояло гораздо проще: переводчик не стал затруднять себя кропотливыми изысканиями и, изготовив раз и навсегда несколько экзотических ("восточных вообще") деталей, свинчивал их понаторевшей рукой с добавленным к ним десятком-другим местных выражений. В результате на книжный рынок поступало еще одно произведение "народной поэзии" той или иной национальности — благо, такие дотошные читатели, как мой знакомый, встречаются не так уж часто.

Чтобы представить себе, насколько облегчают свою

переводческую работу Наумы Гребневы, следует иметь в виду, что переводчик сталкивается во время работы не только с трудностями, одинаковыми для всех языков, но и с трудностями, присущими только переводу с данного языка на данный язык.

Как, например, русскому переводчику английского стихотворения уложить все, что сказано в оригинале, если русские слова более, чем в два раза длиннее английских? Как ему перевести предложные конструкции болгарского (не имеющего падежных окончаний), если их одинаковость автор использовал для рифм, анафор и под.? Как ему сохранить символику деревьев в стихотворении немецкого автора о мужской грусти по далекой женщине, если пальма — женского рода в обоих языках, а сосна — мужского рода только понемецки? Как ему воспроизвести аллитерации польского оригинала, если отношение поляков и русских к одним и тем же звукам различно? Как соотнести при переводе поэзии константность ударений во французском языке и их свободу в русском?

Подобных примеров для каждых двух языков множество. И любой из них будет еще одним доказательством того бесспорного факта, что разные языки таят для переводчиков и разные трудности. Из этого факта можно сделать несколько выводов как теоретического, так и практического характера. Я назову только два.

1. Самый опытный переводчик, научившийся виртуозно преодолевать любые трудности со "своей" (с которой он постоянно имеет дело) парой языков, может стать в тупик при попытке перевести первое же стихотворение с нового для него языка. 2. Работая над переводами с одного и того же языка, переводчик приобретает не только умение преодолевать трудности, но и знание того, что именно с данного языка на его родной язык быть переведено вообще не может.

К сожалению, второе обстоятельство нередко играет в работе переводчика и отрицательную роль. Это происходит при обращении переводчика к непривычному для него языку. Например, опытный переводчик английской поэзии на русский язык отлично знает, что воспроизвести характер словоразделов

в строках оригинала невозможно (из-за огромной разницы в длине русских и английский слов). Естественно, что, никогда не пытаясь в своих переводах повторить словоразделы оригинала, он полностью забывает о такой возможности и при работе с другими двумя языками. Взявшись перевести на русский язык, например, болгарское стихотворение, такой переводчик как бы по энерции и тут не обращает внимания на словоразделы. А между тем, почти полное равенство средней длины русских и болгарских слов позволяет ему построить русскую строку, подобную по словоразделам болгарской.3

Впрочем — не только по словоразделам. Поскольку речь зашла о переводе болгарской поэзии, следует сказать, что русский переводчик имеет все предпосылки для перевода подавляющего большинства художественных особенностей болгарского оригинала И потому, что большинство творческих приемов болгарских и русских поэтов одинаково, и потому, что одинаково (или почти одинаково) психологическое восприятие этих приемов и болгарами, и русскими.

Но если переводчик имеет теоретическую возможность передать на своем языке художественную ткань оригинала с большой степенью точности, он обязан реализовать эту возможность практически. Между тем, советские переводчики от такой реализации весьма далеки, а условия их работы таковы, что фактически вообще отвращают их от подобной задачи.

В результате качество советских переводов обратно пропорционально возможностям переводимого материала: переводчики с далеких от русского языков — английского, французского, немецкого и др. — чаще всего дают русским читателям прекрасное представление об иноязычном произведении, переводчики же с близких языков — болгарского, белорусского, украинского, — как правило, одаряют читателей весьма приблизительными вариациями на тему оригинала, варварски меняя в нем любые составляющие элементы.

Совсем не редкость, например, нарушение советскими

³Если среднюю длину русского слова принять за единицу, то средняя длина английского будет составлять 0.5. болгарского — 1,1, а, например, литовского 2.2.

переводчиками с болгарского даже эквиритмичности между переводом и оригиналом, хотя в подавляющем большинстве случаев переводчику-болгаристу достаточно скопировать положение ударений в стопе и число стоп в строке оригинала, чтобы создать впечатление ритмико-интонационного подобия болгарского и русского вариантов стихотворения. Ведь история Болгарии сложилась так, что русская культура, в том числе и стиховая, является для болгар второй родной культурой, а потому функциональная нагрузка классических размеров и их психологическое восприятие у обоих народов одинаковы.

Разумеется для полного подобия, необходимо также равенство и прочих звуковых средств стиха, являющихся как факторами фонетической организации речи, так и факторами выражения сенсибилизирующих и смысловых соотношений (равенство синтаксиса и инструментовки). Однако и такое равенство для русского переводчика с болгарского намного легче достижимо, чем с языка более далекого: не говоря уж о синтаксической близости простых и сложных предложений, главных и придаточных, повествовательных, вопросительных и восклицательных, нельзя не отметить, что 40% лексического состава обоих этих языков основано на общих корнях.

До сих пор в статье много раз шла речь о работе бесталанных и нечестных переводчиков. Обратимся же к тем, кто даровиты и добросовестно изучают выбранные для перевода произведения — и их язык, и их поэтику, и место, которое они занимают в историко-литературном процессе. Преодолевая различия языковых систем, систем стихосложения, национальных и культурных традиций, эти переводчики максимально близко воспроизводят дух и форму оригинала.

Однако можно заметить, что хотя они всегда равны в своем старании и умении, результаты их работы над разными поэтами разные: как пианисту лучше удается воспроизведение замысла любимого композитора, так и переводчику лучше удается воспроизведение творчества близкого ему по духу поэта.

Поэзию такого поэта он глубже понимает при первом же чтении, он изучает ее с особенной любовью, стараясь узнать историю создания произведения, понять замысел, анализировать форму. И этот труд не бывает напрасным: поэт раскрывает

переводчику и тайны душевных переживаний, заложенных в переводимом стихотворении, и тайны мастерства, делающего эти личные переживания интересными и привлекательными для читателей. Именно теперь, после того как переводчик использовал все свои возможности исследователя, он мобилизует все свои возможности художника — в результате читатель получает максимально близкое воспроизведение иноязычного оригинала на своем родном языке.

К сожалению, подобную работу переводчика нечасто встретишь в советских условиях. Переводчик, изучивший язык, так называемого, "братского народа", в глазах заказчика (а очень скоро и в собственных глазах) представляется личностью необыкновенной и переводит подряд все, что когда бы то ни было писалось на этом языке.

Между тем, в идеале переводчик должен искать "своего" автора так же, как он искал бы женщину, в такой мере отвечающую его симпатиям и требованиям, что он захотел бы всю жизнь называть ее своей женой (или, как говаривали в старое доброе время, "своей половиной"). Перебирая стихи одного поэта за другим, переводчик иной раз может в кого-то из них "быть немножко влюблен" и заподозрить: не он ли? Но когда перед переводчиком окажется действительно "он", сомнения сразу исчезнут: их вытеснит творческое нетерпение, творческий азарт, охватывающие художника, когда он нападает на "свое", на близкое ему по духу.

Переведя одно стихотворение "своего автора", он захочет перевести и второе, третье, все, что тот написал. Потом он найдет другого "своего автора", и история повторится. Он будет работать с таким вдохновением, как будто он пишет свои собственные стихи, и отойти от оригинала для него будет так же невозможно, как отойти от самого себя. Он не переведет хуже, чем написал "его" автор, и почтет за кощунство писать лучше — мысль о соперничестве ему просто не придет в голову: он уже растворился в авторе, и соперничать с ним было бы то же самое, что соперничать с самим собой.

Альберт Опульский

неизданные стихи

Не внял тоске моей Господь И холодом не осчастливил, Из круга пламенного плоть Изнеможенную не вывел.

И люди пьют мои уста, А жар последний всё не выпит. Как мёд столетний, кровь густа, — О, плен мой знойный, мой Египет!

Но снится мне: с глухого дна Идет струенье голубое, И возношусь я, — и одна Лицом к лицу перед Тобою.

Безветрием удвоен жар И душен цвет и запах всякий. Под синим пузырем шальвар Бредут лимонные чувяки.

На солнце хны рыжеет кровь, Как ржавчина в косичке мелкой, И до виска тупая бровь Доведена багровой стрелкой.

Здесь парус, завсегдатай бурь, Как будто никогда и не был, — В окаменелую лазурь Уперлось каменное небо.

И неким символом тоски Иссушен солнцем и состарен — На прибережные пески В молитве стелется татарин.

София Парнок (Сообщил В. Перелешин)

Г. В. ДЕРЮЖИНСКИЙ

В студии Глеба Владимировича Дерюжинского все осталось как было, когда в январе 1975 года он ушел в госпиталь, чтобы никогда не вернуться. На станке, за которым он резал по дереву и полировал скульптуры, лежат деревянный молоток и резцы, на пьедесталах и этажерках — работы в гипсе и дереве, терракоте, пластилине. Повсюду книги по искусству, мифологии, истории музыки.

Во всех работах Дерюжинского видна близость его к классическому искусству, безукоризненное знание формы, безошибочный вкус. Вот его "Леда и лебедь" в песчанике. Эту тему трактовали художники Греции, Италии, Дерюжинский трактует ее по-своему. Его "Леда" в дереве была выставлена в Париже в 1923 году в "Осеннем Салоне", где она получила приз. Вот его "Прощание Гектора с Андромахой", — рельеф в бронзе, "Смерть Актеона", одна из его самых замечательных скульптур по геометрической точности рисунка. Лепил он ее, слушая Второй концерт Рахманинова. Его большая композиция "Рапсодия на тему Паганини" тоже связана с музыкой Рахманинова: Паганини играет на скрипке, а вокруг — видения: монахи со свечами, влюбленные, дьявол и торжествующий Ангел.

Рахманинов, Шуман, Шопен, Лист были любимыми композиторами скульптора. Лист был особенно близок ему. Г.В. часто вспоминал рассказы А. Зилоти о Листе, учеником которого тот был. Интерес к Листу отразился в ряде скульптурных работ Г. В. Лист — юноша (маленькая бронза) находится в музее в Хайфе в Израиле.

Дерюжинский был близок со многими музыкантами. Портрет пианиста А. Зилоти, вылепленный сильными мазками в стиле Трубецкого, находится у дочери Г.В. Близким другом семьи Дерюжинских был Гречанинов, его портрет в бронзе — в русской организации РОВА. На могиле композитора рельеф в бронзе сделан Дерюжинским. В 1920-х годах Сергей Прокофьев постоянно бывал в студии Г.В. Здесь Прокофьев играл на маленьком пианино свою "Любовь к трем апельсинам". С. Прокофьев позировал скульптору в этой студии. Бюст композитора вылеплен смело: обнаженные плечи, сильная шея, выпуклый лоб и взгляд, устремленный вперед — это портрет новатора, открывателя "новых земель". Фотография с этой скульптуры была напечатана на программах Прокофьева во время его турне по Европе. Портрет композитора с его подписью висит в студии: "Дорогому Дерюжинскому от его друга и поклонника. С.П. 1920".

Дерюжинский вылепил и портрет С. Рахманинова и всегда сетовал, что Рахманинов, обещавший ему позировать, как только вернется из Европы, заболел и не смог исполнить обещания. Скульптор закончил портрет уже после смерти композитора. Бюст Рахманинова получил несколько призов на разных выставках, но в гипсе стоит в студии. Г.В. лепил также красавицу музыкантшу миссис Мак Ланахан. Руки знаменитого арфиста Гранжани, в бронзе, у музыканта.

За свою долгую жизнь Γ .В. создал несчетное количество скульптур, многие разбросаны по разным городам Америки, в музеях, парках, в частных коллекциях.

На Международной Выставке 1939 года, в Нью-Йорке, большой успех имела группа Г.В. "Похищение Европы". Это — экспонат, героических размеров, на мифологическую тему. Снимки "Похищения Европы" были на обложках "Нью Йоркер", "Тайм" и в других журналах. Статуя должна была быть отлита в бронзу. Вторая Мировая война остановила этот проект, и монументальная группа была уничтожена за отсутствием места в студии художника. Сохранились лишь фотографии и мраморная группа, скопированная с первой модели.

Во время своего пребывания в Калифорнии Дерюжинский вылепил бюст А. Пушкина для общества памяти поэта в Лос-

Анджелосе. Домовой церкви на Толстовской Ферме он подарил "Распятье Иисуса Христа", которое было освящено ныне покойным владыкой Саввой. В церкви Св. Серафима Саровского у о. А. Киселева — "Ангел Гавриил" и два барельефа на религиозные темы.

Творчество было и радостью и смыслом жизни Г.В. Дерюжинского. Он всегда работал с энтузиазмом, с увлечением. "Перепроизводство", — смеялся он, но продолжал лепить. "Скульптура, — говорил Г.В., — рождается в глине и умирает в гипсе, чтобы воскреснуть в материале." Он особенно любил в терракотовой глине, в которой каждый мазок сохраняет прикосновение руки художника. При отливке в бронзу, чеканке на заводе, эта свежесть отчасти теряется. То же говорил он о дереве, ценя больше всего непосредственную резьбу из одного куска. "Дерево само подсказывает тему и ведет руку художника," — объяснял он. Хорошо помню, как он резал свою "Фею", движение которой нашел в причудливой форме ствола. Так же создал он свою "РІЕТА" — барельеф, выбитый из ствола английского ореха, из коры которого появляется лик Божьей Матери и точеные руки ее, держивающие безжизненное тело Христа. В этом же иконном византийском стиле он вырезал из коко-болла, красноватого Южной Америки, твердого дерева свою трогательную которую ему присудили "Линдзи Мемориал "DIESIS". Прайз".

Одним из последних увлечений Г.В. был Египет. Читая художественные и исторические книги о времени царствования Тутанхамона, он загорелся желанием вырезать статую дочери Тутанхамона. Он вырезал ее из куска черного дерева, трудного для резьбы, но блестящего и гладкого, как атлас, после шлифовки. Стройная, обнаженная она несет лотосы, и на шее ее ожерелье. Для этого ожерелья Г.В. много часов провел в египетском отделе музея Метрополитен, пока не нашел украшения, которое носили египтянки той эпохи. Надо было видеть, с какой радостью он вырезал малюсенькие мушки, из которых состояло ожерелье, а было тогда Г.В. уже за восемьдесят лет. Но художник не знает старости. Дерюжинский в творчестве был неутомим и отзывался на все окружающее. Лицо молодой девушки в автобусе, проходя-

щая с собакой женщина, влюбленные на скамейке парка, новые танцы, все вдохновляло его, и все это он набрасывал в глине свежо, быстро. Так перед нами его "Современная Диана" из грушевого дерева американка в джинсах с борзой. "Го-го", вылепленная с натурщицы, показывающей ему модный танец. "Девочка у фонтана", которую он зарисовал, гуляя по Гринич Авеню. Дерюжинский часто лепил с натуры, но признавался, что многие его работы были подсказаны ему воображением. В его творчестве видно глубокое знание греческой, византийской, древнерусской живописи и скульптуры. Искаженные формы модернизма были чужды Г.В., влюбленному в греческое совершенство линий, в божественное мастерство Микельанджело, однако сухого классицизма в работах Г.В. нет. Построенные на безукоризненном знании формы его скульптуры импрессионистически, свободно отражают эмоции и жизнь, которую он так любил и которой всегда радовался. Для него творчество было "чудом".

"Дерюжинский это Шопен в скульптуре", — сказал о нем однажды Ремизов. Всю свою жизнь Г.В. был преданным служителем своей Музы и не раз отказывался от заказа, если он не был ему по душе. Бессребреник, истинный русский интеллигент он был по-детски непрактичен. Расставаться со своими скульптурами не любил и всегда радовался, когда с выставки возвращалась любимая непроданная работа. "Это все мои дети, — говорил Г.В., — и я хочу, чтоб они были всегда со мной."

Большая часть творчества Дерюжинского посвящена религиозному искусству. Интерес к нему пробудило пребывание Г.В. в Италии, где он провел почти год, влюбился в Венецию, в Рим, в архитектуру и скульптуру итальянских мастеров. Его поразило не только совершенство старинных соборов и церквей, украшенных работами гениальных художников, но и то благоговение, которое они вызывают у молящихся.

Не будучи "церковником" он верил в Бога, и интерес к потустороннему всегда жил в нем. Христос и его жертва волновали художника, и в многочисленных Распятиях и образах Христа он передавал великую красоту жертвы и любви к человечеству.

Неоднократно возвращался Г.В. к теме распятия, к снятию с

креста, к погребению. Иногда он изображал это стилизованно, подчас даже модернистически, только намеками, крупными сильными мазками, как в его эскизе в терракоте "Снятие с Креста", который он мечтал видеть в натуральную величину.

В Мадоннах, которых он лепил для католических церквей, часто есть неуловимое сходство с Владимирской Божьей Матерью. Во всем его религиозном творчестве мы находим конструктивное сочетание древнерусского иконного искусства со строгой готикой. Следуя традиции всех религиозных скульпторов, Дерюжинский часто не подписывал свои произведения. "Подпись художника это его стиль, его должны узнавать по его манере".

Именно в этой, только ему присущей манере, создано было Г.В. "Благовещение" в темном английском дубе — одно из самых поэтических произведений художника. Черты Божьей Матери, поворот ее головы, крылья и лик Ангела — это видение Нездешнего мира, которое удалось увидеть художнику. Скульптура эта — в музее Сант Диего (Калифорния).

Элемент чуда всегда есть в подлинном искусстве. Мы находим его в "Снятии с Креста", небольшом барельефе в английском дубе, а также в фарфоре. Эту композицию Г.В. "увидал" в предутреннем сне, в Калифорнии. Вскочил с кровати, кинулся к мольберту и лихорадочно быстро, "чтобы только не потерять видения", набросал всю группу. Барельеф был создан "одним дыханием", и свежесть видения не была потеряна. Эта много раз воспроизводилась на художественных и религиозных журналов и была выбрана каточтобы духовенством для того, представлять религиозную скульптуру Америки на выставке в Риме. В Ватикане она простояла целый год, как образец лучшей религиозной скульптуры Соединенных Штатов. Почти нет штата Америке где бы не было скульптуры Дерюжинского. "Четырнадцать Ступеней Крестного Пути", вырезанные из грушевого дерева, находятся в Поминальной часовне покойного кардинала Спелмана в Нью-Йорке. В Доме Философии и Теологии в Цинцинати (Охайо) его две серии (24) рельефа "Ступеней Крестного Пути" в английском дубе. За них в 1960 г. Г.В. получил Линдзи Мемориал Прайз и за превосходную резьбу

по дереву специальную бумагу от Национального Общества Скульпторов и Архитекторов в Нью-Йорке. Во Флашинге в храме Св. Марии его "Четырнадцать Ступеней Крестного Пути", вылепленные из красноватой терракотовой глины, причем каждый рельеф врезан в темный дубовый крест. Там же "Распятие" в натуральную величину из бразильского дерева. В Школе "Святое Дитя", в Суммит, Нью Джерси, вся часовня декорирована Дерюжинским в белом форфоре. Там распятие, парящие над крестом ангелы, Четырнадцать Ступеней Крестного Пути, Божья Матерь и Иосиф в натуральную величину. В саду монастыря — Христос Младенец, с ягненком на руках, в песчанике, и Христос над дверьми в дереве. "Четырнадцать Ступеней Крестного Пути" также находятся в Поминальной часовне кардинала Хэйс. В церкви Вознесения в Салем (Коннетикут) — Св. Мария, Христос, Иосиф и Св. Антоний Падуанский в раскрашенном дереве. В Епископальной церкви "Всех Святых" в Мобиль (Алабама) "Вознесение" и два Ангела, Михаил и Гавриил в дереве. В Аббатстве Св. Винцента в Пенсильвании Христос, омывающий ноги ученикам — высокий рельеф в алюминии, и Св. Михаил, убивающий дракона, в белом дубе, там же "Положение во гроб", в ореховом дереве, и "Надгробный Плач" — Мария у изголовья, Магдалина у ног Христа. В часовне Св. Причастия, в Балтиморском Соборе, два ангела в бронзе, над дарохранительницей. Двенадцатифутовый бронзовый балдахин с резными рельефами птиц — в Монастыре Св. Франциска в Вашингтоне. Игнатий Лойола и распятый Христос, в натуральную величину, в Фордамском Университете в Бронксе (Нью-Йорк). В Доме Философии в Сент Люис находится его монументальная группа в бронзе "Св. Де Смет обращает в христианство индейцев племени Сиу". В Сент Люис в Монастыре Св. Франциска — "Двенадцать Апостолов" в бронзе, в 24 дюйма высоты. В соборе Божественного Иоанна, на 113 улице в Нью-Йорке, "Распятие", в натуральную величину в дереве. В церкви Божьей Матери Скоропомощницы в Бруклине 13-футовая Голгофа, в мраморе, и шестифутовый Св. Иосиф с младенцем Христом на руках, тоже в мраморе. В Личфильд (Коннетикут) в церкви Св. Антония — Св. Антоний в дереве. В Иезуитской миссии в Макамэк (в Индии) Мадонна с Младенцем, в сари, в дереве. Знание Библии и интерес к религиозному искусству помогли Г.В. блестяще справиться с украшением Еврейского Центра в Бэйсайде (в 1960 г.). На фасаде здания — развернутая Тора в камне. В холле Центра шесть барельефов: "Создание Мира", "Построение храма Соломонова", "Пророк Илия на горе Кармель", "Десять заповедей Моисеевы", "Переход Красного моря" и "Шалом-Мир", где львы и тигры пасутся рядом с оленями и слонами. Там же "Бима-Врата", в ореховом дереве, на которых вырезаны скульптором скрижали, поддерживаемые львами и двенадцать символов колен израилевых, а по бокам горящий куст и виноградная лоза.

Последний большой заказ по религиозной скульптуре Дерюжинский выполнил для Собора Непорочного Зачатия в Вашингтоне. Эти три модели больше человеческого роста он лепил в своей студии в Гринвич Вилэдж в 1967 г. Теперь Св. Игнатий Лойола, Св. Купертино и Св. Бонавентура, уже в мраморе, стоят в соборе, в Вашингтоне.

Глеб Владимирович Дерюжинский родился в имении Отрадное, Смоленской губернии 13 августа 1888 года. Отец его Владимир Федорович был профессором Административного Права в Петербургском Университете, доктором honoris causa Абординского Университета в Шотландии. Мать скульптора София Антоновна Арцимович была польского происхождения, ее отец сенатор Антон Арцимович был любимым дедом скульптора. Он был выдающимся юристом. Дед часто брал внука с собой в Царское, показывал ему Лицей, где за десять лет до поступления деда учился А. Пушкин. Так Пушкин казался "современником" и Г.В. Царское Село, Летний сад, Статуи, Петербург, который он помнил еще освещенным газовыми фонарями, навсегда запечатлелись в памяти художника.

С раннего детства Г.В. лепил из свечного воска или резал из мыла различных зверюшек, и хотя он превосходно учился, лепка была его любимым занятием. Его гувернантка первая обратила внимание на его незаурядные способности, и под ее влиянием София Антоновна подарила сыну ко дню рождения, когда ему исполнилось 16 лет, билет на правоучение в Школу Поощрения Художеств, директором которой был Н. Рерих. Каждый день, после окончания классов в гимназии Гуревича Дерюжинский

брал конку и отправлялся в Школу Поощрения Художеств, где работал до самого ужина. Его способности были сразу замечены, и его быстро перевели из рисовальных классов в скульптурный отдел. Его первая скульптура получила медаль и была выбрана для музея школы, однако отец отказался дать деньги на отливку ее в бронзу. Он отрицательно относился к художественным стремлениям сына. По традиции семьи он должен был стать юристом. "Не хочу, чтобы мой сын перебивался с хлеба на квас, жизнь бедного художника не для него", — говорил отец. Сразу по окончании гимназии Г.В. должен был идти на юридический факультет. Но Г.В. не хотел, убежденный, что скульптура была его карьерой. Н.К. Рерих решил заступиться за талантливого ученика и посетил профессора. Для Рериха не было сомнения, что "Глеб будет большим скульптором" и должен поступить в Императорскую Академию Художеств. После горячей беседы В.Ф. пошел на компромисс. Глеб кончит юридический и тогда, если его желание не изменится, отец пошлет его во Францию учиться скульптуре. Горько сетовал юноша на это решение отца, но подчинился. Он блестяще учился, и ему было предложено остаться при Университете. Но Г.В. был непоколебим, он горел желанием выразить себя в творчестве. Все четыре года работая в Университете, он ежедневно лепил: портреты, статуэтки, композиции. Исполняя свое обещание, отец отправил сына в Париж, где Г.В. работал в художественной школе Коларосси и в Академии Жульена. Там он встретил Родена, который пригласил его в свою студию в Будо. Разглядывая фотографии работ Г.В., Роден одобрил свежесть и силу композиций и на прощание, тепло пожимая его руку, сказал: "Мужество, молодой человек, мужество!" Но мужества у Дерюжинского было сколько угодно.

Вернувшись в Россию, весной 1913 года Дерюжинский поступил в Императорскую Академию Художеств, где его учителем был Гуго Романович Залеман. Г.В. работал в Академии десять часов в день, шесть дней в неделю: он рисовал с натуры, лепил, формовал. "Отец давал мне на трамвай 5 копеек в день и 30 копеек на завтрак в столовой Академии, он также платил за материалы для скульптур, но на карманные расходы не давал ни гроша, — вспоминал Г.В. — Он хотел убедиться, что несмотря на материальные трудности я буду предан искусству".

В Академии Г.В. получил 7 первых категорий, обычно больше трех не давали, и его этюд был оформлен на казенный счет. За свою композицию "Малюта Скуратов и Иван Грозный" он получил серебряную медаль. Академия была его родиной, его домом, его жизнью, а Г.Р. Залеман лучшим другом и учителем, о котором Г.В. всегда вспоминал с благодарностью.

В 1915 году в Петербурге состоялась первая выставка Г.В. Портретная статуэтка графини Сюзан де Робьен с борзой, в бронзе, была воспроизведена в журнале "Мир Искусства". Он выставлялся и у Передвижников, где его небольшие изящные бронзы, как "Конная статуэтка", "Гермес, изобретающий Кадуцей", "Поцелуй", имели большой успех. Графиня Карлова, морганатическая жена герцога Мекленбургского, заказала ему бюст покойной дочери в мраморе. Это была первая работа Г.В. в мраморе, и она была поставлена в Ораниенбургском дворце. В это же время Г.В. ваял из мрамора портрет Марии Шаховской и княжны Ольги Орловой. Он сделал в бронзе портрет проф. Голицина, который стоял в Академии Наук. Он сделал также портреты А. Сабурова, Баклемишева, художника Беляшева и других.

В революцию, когда Керенский был военным министром, он в военном министерстве позировал Репину и Дерюжинскому одновременно для портрета и скульптурного бюста. Октябрьское восстание застало его за работой в Академии. Когда он возвращался домой, на улице шла перестрелка. Это было вблизи Юсуповского Дворца, и чтобы переждать стрельбу, Г.В. решил зайти к Юсупову, с которым учился в гимназии Гуревича и был дружен. Так у Юсупова Г.В. и провел первую ночь Октябрьской революции. Юсупов повел его в гостиную, показать пятно на ковре — след убийства Распутина. Они проговорили до утра, и Юсупов уговорил Дерюжинского ехать с ним в их имение в Кореиз, где уже находились его родители и жена Ирина. "Переждем там события, и в то же время ты сделаешь мой портрет и портрет жены в мраморе". Попрощавшись с отцом и с Залеманом, Дерюжинский поехал в Крым.

В Кореизе ему устроили студию, и он принялся за работу. Юсупов, приехавший позже, привез две картины Рембрандта и попросил Г.В. скрыть их своими рисунками и держать у себя в студии, чтобы их не реквизировали. (Теперь обе эти картины висят в Национальной Галерее в Вашингтоне).

Соседями Юсуповых в Кореизе была вдовствующая императрица Мария Федоровна, ее две дочери Ксения и Ольга, их мужья и дети. Восставшие матросы обстреливали в эти дни побережье Ялты, начались расстрелы, и вскоре большевики захватили Ялту. Банда матросов явилась и в имение Юсуповых, конфисковала автомобиль и арестовала всех, в том числе и скульптора. Но появление комиссара Филиппа Задорожного, оказавшегося идейным, честным человеком, спасло не только Юсуповых, Дерюжинского, но и членов царской семьи. Задорожный приказал своим матросам не беспокоить "матушку государыню" и Юсуповых. Он взял на себя их "охрану" и приказал сдать ему "на хранение" все драгоценности. Под охраной Задорожного жизнь в Кореизе текла почти нормально, матросы подчинялись этому коренастому, сильному человеку беспрекословно. Филипп Задорожный был революционером, но был против грабежей и убийств.

матросы отступили приближении при Задорожный вернул Юсуповым все драгоценности и отказался принять какое-либо вознаграждение. Императрица Мария Федоровна заказала Дерюжинскому портрет Задорожного, "забота о нас Задорожного и желание его охранить нас от жестокостей приближают нас к Богу", — сказала она скульптору, посетив его студию, чтобы взглянуть на портрет. Филипп позировал Дерюжинскому и откровенно делился с ним своими чувствами и надеждами. Этот простой, но широкий человек сумел внушить к себе любовь и уважение. Его портрет, вылепленный смело и реалистически, удался скульптору. Мария Федоровна, когда портрет был отлит в гипсе, устроила у себя обед в честь Задорожного. Что сталось с Ф. Задорожным, которого Юсуповы спасли от расстрела пришедших немцев, Г.В. не знал. Не знал он и о судьбе бюста, но фотография с него сохранилась в архиве.

Во время пребывания в Кореизе Г.В. успел высечь из мрамора портреты Ирины и Феликса Юсуповых, а также сделал немало скульптурных этюдов. После ухода немцев из Ялты пришли французы. Дерюжинский отправился в Севастополь, его интересовали там раскопки греческого порта Херсонес. Но в это

время наступавшие большевики отрезали Севастополь от Кореиза, и план покинуть Россию с Юсуповыми и уехать в Европу не осуществился. Из Севастополя Г.В. бежал в Новороссийск к Деникину. В феврале 1918 года друзья устроили его гардемарином на пароход "Владимир", который вез груз руды в Соединенные Штаты. Так, позади осталась родина, родные, Академия. Стоя часами на вахтеон без страха смотрел вперед. Об Америке он слышал только от дяди А.Ф. Дерюжинского, бывшего консулом в Сан Франциско. В свободное время Г.В. и на пароходе что-то лепил, благо захватил с собой немного глины и инструменты. Так он вылепил по просьбе московского купца П.К. Морозова, плывшего в Америку на этом же пароходе, бюст генерала Корнилова, с газетной фотографии.

Когда пароход приплыл в Америку, Г.В. задержали на Эллис Айланд, так как он был без паспорта и без денег. Судья, выдавший ему право жить в Америке, спросил его, что он думает делать. Г.В. без колебания ответил: "Я буду скульптором и пришлю вам приглашение на мою первую же выставку". Через два года он сдержал свое слово, и в Нью-Йорке в галерее Макбэт, а затем у Нэдлера состоялись его выставки. И Г.В. послал приглашение судье.

В его первой студии на Колумбус Авеню ни горячей воды, ни отопления не было, но был верхний свет и много места. В Нью-Йорке он встретил своих петербургских друзей: Н.К. Рериха, который дразнил Г.В., что он "укрывается мрамором", на 72 улице "водился" Зилоти, который принес ему свою доху, потому что в студии зимой вода замерзала. В эту студию Рерих привел Рабиндраната Тагора, который позировал Г.В. Кроме бюста в гипсе Г.В. вырезал голову Тагора из Lignum Vitae: голова поэта выступает из толстого куска дерева, значительная и вдохновенная. Одновременно им были сделаны портреты Рериха и Зилоти.

Еще в России Дерюжинский восхищался президентом Теодором Рузвельтом, который умер незадолго до приезда скульптора в Америку. Изучая фотографии, фильмы из жизни президента и маску, снятую с покойного, Г.В. вылепил один из своих самых замечательных портретов. Этот бюст, вылепленный в 1919 году, принес ему признание в чужой стране. Он был

приобретен Женской Ассоциацией памяти Рузвельта, которая вознаградила артиста специальной медалью. Этот портрет в бронзе стоит в Нью-Йорке, в доме, где родился президент, и сохраняется как исторический памятник.

Один из своих первых заказов в Нью-Йорке Дерюжинский получил от миссис Джон Генри Хомманд, она стала его патронессой и открыла ему двери в лучшее общество Нью-Йорка. Г.В. сделал ряд портретов ее семьи, солнечные часы в ее также ряд садовых статуй, цилиндрических барельефов, в мраморе. В то время Г.В. лепил и ваял из мрамора портреты детей, светских дам, его "Бульдог" в бронзе и декоративные статуэтки имели большой успех. Он был в моде. Из студии на Колумбус он переехал в "Hotel des Artist". Красивый, веселый, талантливый он был принят в лучшем американском обществе. Был дружен с Мэри Астор, Лили Понд, портрет которой лепил. Бэртели, у которого был бронзовый завод, настолько верил в него, что отливал, на свой риск, его маленькие изысканные статуэтки, которые быстро продавались. Волтер Т. Розен, знаток и любитель искусства, купил ряд его работ. Теперь эти скульптуры находятся в коллекции "Карамур" в Катоне. В его студию балетмейстер Борис Романов привел Рут Пэдж и Рудольфа Болма. Он вылепил несколько портретных статуэток Пэдж в роли Коломбины, Болма в роли Арлекина. Пэдж позировала скульптору для Леды. "Леда и лебедь", в дереве, были выставлены в Осеннем Салоне в Париже в 1923 году. Но в конце концов светский образ жизни приелся Г.В. Захотелось семейного уюта, и он женился на русской девушке Александре Михайловой.

В 1928 году в Лондоне состоялась у Нэдлера выставка работ Дерюжинского, которую открыла леди Диана Купэр и князь Сергей Оболенский. Во время своего пребывания в Лондоне Г.В. вылепил ряд портретов женщин высшего общества Лондона. Они были показаны на выставке, как и портрет С. Оболенского в мраморе, Президента Королевской Академии Англии сэра Джона Лавари, портрет Лилиан Гиш в дереве и ряд других терракотовых статуэток.

Первую золотую медаль Г.В. получил в Филадельфии в 1926 году за "Еву" в коко-болла. В 1937 году ему была присуждена

золотая медаль в Париже за терракоту обнаженной женщины. На выставке Академии в Нью-Йорке он получил золотую медаль за скульптуру женщины, стремящейся разорвать путы жизни — "Сдвиг". Золотую медаль он также получил за Архангела Михаила в английском дубе.

В течение ряда лет Г.В. преподавал в Сара Лоренс колледж, но когда ему предложили переключиться на модернизм, он подал в отставку. Дерюжинский не принимал новых течений искажения формы, ухода от красоты и "эстетики безобразия".

Анчар Хантингтон, миллионер, меценат, посетил студию скульптора на 68 улице и выбрал три модели для монументальной скульптуры в его Музее Брукгрин Гарденс в Чарлстоне (Южная Каролина). Это "Самсон, разрывающий пасть льва", в камне, больше натуральной величины, "Экстаз" — монументальная группа в бронзе: мужчина и женщина, несущиеся вперед, движение которых балетмейстер Б. Романов грозился "украсть" для своего балета, и наконец "Охотница Диана".

Вторая Мировая принудила скульптора, из-за война отсутствия заказов, поступить на завод Сикорского, где он работал чертежником. Он быстро освоился с инженерной техникой, многие чертежи вертолетов в книге Сикорского были сделаны Дерюжинским. Но работать не по своей специальности ему было мучительно, и несмотря на хороший заработок, Дерюжинский вернулся к скульптуре. Он получил заказ на памятник павшим воинам, в дереве, для Чикаго. Портрет Делано Рузвельта был заказан ему Д. Дубинским, в граните, для Хайд Парка. Для Чикаго он сделал в бронзе памятник Американскому Солдату. Его фронтиспис находится в Корнелл Юниверсити. Для здания суда в Питсбурге им был сделан барельеф в память сенатора Риан. На пересечении дорог в Бедфорде, Коннетикут, стоит Бедфордский Крест из бронзы Г. Дерюжинского. В Медицинской Академии Нью-Йорка его работы портрет доктора Мэй. В школе Социальных Исследований бронзовый бюст д-ра Алвин Джонсон. Дерюжинскому позировал исследователь морского дна Вильям Биби. Для Панамского Канала он сделал героический портрет в бронзе Теодора Рузвельта. Он вылепил портреты Джона Кеннеди (бронзовый бюст принадлежит Дубинскому) и Адлей Стивенсона. Я далеко не перечислила

всех сделанных Г.В. портретов и работ. Его работы находятся в музее Метрополитен (Нью-Йорк), в Смитсониан Институт, в "Портретной Галерее" в Вашингтоне, в Мемфис Теннесси Музее, в Дэйтон Институте Искусства, в музее Кранбрук Фондейшен, у Т. Витни в коллекции Русского Искусства (Вашингтон, Коннетикут), в музее Линкольн Сентер и других. Г.В. был членом Национальной Академии Искусств, членом Национального Общества Скульпторов, Архитектурной Лиги, Профессиональной Лиги художников и других.

Дерюжинский был женат три раза. Мне суждено было стать его третьей женой и разделить с ним последние двадцать лет его жизни. Он всегда говорил, что умрет с инструментом в руках, и, действительно, преодолевая сердечные спазмы, мужественно продолжал работать до последних дней.

Помню как не раз, когда мы входили ночью в нашу темную студию, он шептал: "Не шуми, не спугни их ночную жизнь. Я уверен, что все статуэтки и портреты между собой разговаривают. Пан играет на свирели. Фея танцует, а Паганини поднимает свой магический смычок и наполняет ночь звуками, которых нам не дано слышать".

Наталия Резникова-Дерюжинская

КТО САМЫЙ МУДРЫЙ? (Из Лу Синя)

В такой-то год в семье середняка Родился сын, и принесли подарки "Цзюй-жэнь" — сосед и прачки, и кухарки, И даже три старейших старика.

Один изрек — улыбкой знатока: — "Сомнений нет: ребенок — высшей марки, И ждут его венки, литавры, арки, Каких еще не видели века!"

Зато другой, взглянув на мальчугана, Предупредил, без лести и обмана, Что и ему не избежать конца.

— "Гау-гау, мяу-мяу!" — развеселился третий, — "Му-му, ку-ку!" — и умилил отца Бессмыслицей шутливых междометий.

ГЛЕБУ ГЛИНКЕ

Не простую дали нам задачку, До сих пор она не решена: Так и пережевываем жвачку, Путая шальные времена.

Было завтра, но, в укор пророкам (Давешним: история стара), Оттеснило нас железным боком За сегодня. Даже за вчера.

А вчера — уж нет его, но будет: Трубачи — "Коль славен" — торжество. Пусть меня праправнуки разбудят, Чтоб я встал и не проспал его.

Валерий Перелешин.

Д. И. КЛЕНОВСКИИ

(ТРИ ГОДА СО ДНЯ СМЕРТИ)

Говорить о поэзии Дмитрия Кленовского и легко, и трудно. Легко потому, что, перечитывая его стихи, испытываешь всегда истинное наслаждение; трудно — потому что еще при его жизни о нем достаточно писали многие литературные критики нашего Зарубежья

Что делает поэзию Дмитрия Кленовского близкой широкому кругу читателей? От поэтов до людей, просто любящих музыку русской речи? Мне кажется, прежде всего искренность, отсутствие всякой позы и глубина мыслей в сочетании с благородной простотой языка. Мелодичность его поэтической речи, ее эмоциональная насыщенность придают очарование поэзии Кленовского.

Дм. Кленовский любит видимый ему мир, он счастлив, что вкусил его дары: "Я их изведал, радости земли / Леса, тропинки, волны, корабли, / Прикосновенья, рифмы, поцелуи... / Мне кажется, что их с собой возьму я..." Причем его виденью всегда сопутствует раздумье о значении вещей, о тайне, которой "овеян и храним / Каждый жалкий камень придорожный, / Каждый лист, упавший рядом с ним".

Вещность, ясная осязаемость поэзии Дм. Кленовского роднит его с акмеистами Серебряного века. Чтобы объяснить это родство следует рассказать о самом поэте, о его жизни. До сих пор о прошлом Дм. Кленовского никаких подробностей никто не сообщал. Известно лишь было, что после революции он замолчал и начал писать только в эмиграции, на Западе. Но счастливый случай помог мне получить доступ к автобиографии поэта, написанной им по настоянию друзей в Германии в страш-

ные годы насильственной репатриации. Она хранилась эти годы у многолетнего друга поэта, известного мастера акростиха Г.Г. Панина. Он и вдова поэта Маргарита Денисовна Крачковская любезно разрешили мне автобиографией воспользоваться; и я остановлюсь на главных событиях в жизни поэта, чтобы вернуться к его стихам.

Со свойственной Кленовскому скромностью он начинает свою автобиографию с объяснения: "Я пишу эту автобиографию по настоянию моих друзей. Пишу с чувством некоторого смущения, ибо я не считаю свой поэтический труд настолько значительным, чтобы интерес к нему (если таковой вообще когда-нибудь возникнет!) перерос бы в интерес к личности автора..."

Родился Дм. Крачковский 24 сентября 1893 г. в Петербурге, в семье художника-пейзажиста академика живописи Иосифа Евстафьевича Крачковского, женатого на дочери архитектора Н.Ф. Беккера, Вере Николаевне, одаренной художнице-акварелистке. Благодаря ей, в их единственном сыне развился интерес к искусству, особенно к поэзии. Уже шести-семи лет он "издавал" свои "журналы", которые заполнял стихами, повестями, рисунками и шарадами — всё собственного сочинения. Это увлечение длилось до 16-17 лет. Читать он начал очень рано. Уже к десяти годам к хорошо знакомым Жуковскому, Пушкину, Гоголю, Лермонтову, Грибоедову прибавились Апухтин, Надсон, Лев и Алексей Толстые, Полонский, Фет, Бунин и др.

Семья Крачковских часто и подолгу бывала за границей. Особую роль в литературном воспитании поэта сыграла Франция. Молодой Крачковский увлекался Мюссэ, Ростаном, Верленом и другими поэтами и стал знатоком французской литературы. Только двадцати лет он "открыл" Брюсова, Бальмонта, Блока, Вяч. Иванова и Кузмина. Но ближе других ему были Гумилев и Ахматова, а также Ин. Анненский.

С 1904 г. Дм. Крачковский учился в царскосельской гимназии, наездами из-за границы сдавал экзамены и в 1911 г. окончил гимназию с золотой медалью. Болезнь (опасность туберкулеза) вынудила его провести два года в Швейцарии. Только в 1913 г. он вернулся в Петербург и поступил в университет, посещая лекции филологического факультета, хотя числился на юридическом.

После смерти отна в 1914 г. ученье пришлось совмещать с работой ради заработка. Вместе с тем этот период (1913 — 1916) был очень интенсивным в его жизни, наполненным интересами к поэзии, театру, балету. В живописи ему особенно близко было течение "Мира искусства" — Сомов, Лансере, Добужинский, Бенуа, Кустодиев и др. В поэзии прибавились Мандельштам, Георгий Иванов и др. акмеисты, привлекавшие его "поэтическим тактом и лирической сдержанностью". К этому периоду относится и его знакомство с антропософией — миросозерцанием, предопределившим его творческие пути. Его стихи стали появляться в петербургских журналах: "Солнце России", "Русская мысль" и др.

В 1916 году — датированная 1917-м — вышла первая книга стихов Дм. Крачковского "Палитра" с лучшими стихами, написанными в возрасте от 16-ти до 22-х лет. Сам он считал ее слабой, несмотря на ряд похвальных отзывов в печати. Вот как он говорит об этом: "Беспечная, нарядная жизнь отразилась и на моем творчестве: оно было поверхностным, внешне "красивым", хотя преисполненным добрых намерений и без всякого фатовства, но внутренне — беспомощным, не обожженным еще дыханием жизни..."

Еще до появления "Палитры" из-за увлечения антропософией, произошел некий перелом: темы поэта стали значительнее, ритм стихов — строже. Стихи этого периода вошли в сборник "Предгорье", принятый вместе с переводом свыше ста стихотворений книги Анри де Ренье "Сельские божественные игры" издательством "Петрополис". Но всё это пропало с закрытием частных издательств.

В 1917 г. поэт был призван на военную службу "военным чиновником" в Главном артиллерийском управлении и числился там до демобилизации в 1922 г. 1918-20-годы поэт по службе провел в Москве. Голодал. Много читал, слушал в антропософском о-ве вдохновенные доклады Андрея Белого, посещал Дом Поэта, где услышал Цветаеву, Ходасевича, полюбил близкого ему своими антропософскими настроениями М. Волошина. Но стихи того времени затерялись или были уничтожены поэтом в годы террора.

1921-22 годы он работал как журналист, а также как

переводчик украинских поэтов. Но скоро он, не видя возможности свободной творческой работы, избрал чисто техническую — переводы русских и иностранных телеграмм на украинский язык в Радиотелеграфном агентстве Украины, где работал до прихода германских войск в Харьков в 1941-м году.

С 1925 года поэт совершенно перестал писать, замкнувшись в чтение классиков. Из советских поэтов и прозаиков его иногда радовали только Пастернак, Н. Тихонов, К. Паустовский, Пильняк и Багрицкий. Маяковский был ему чужд, хотя он ценил в нем мощь и мастерство.. Из современных иностранных писателей выделял Хемингуэя.

О своем браке в 1928 г. с Маргаритой Денисовной Гутман из Петербурга он пишет: "...судьба дала мне редчайшего в наше время друга. Человек совсем иного характера, интересов, симпатий, убеждений, жена моя явилась моим жизненным спутником в самом благородном и прекрасном смысле этого слова. Я не могу себе представить союза между мужчиной и женщиной, основанного на большей любви, взаимном понимании, дружбе и доверии, чем наш. Ни одно облачко никогда не омрачило его, годы — только углубили..."

Вспоминая прошлое, вызовы в НКВД, допросы и угрозы, поэт считает, что уцелел каким-то чудом. В 1942 году он, как и многие, ушел на Запад. Живя на берегу Дуная в Австрии, он описал свои чувства так: "Не успела моя нога оторваться от советской почвы, как неожиданно для самого себя, отнюдь не ставя перед собой этой задачи, я возобновил после 20-летнего молчания мою литературную работу..."

Свое творческое "воскресение" он описал в стихотворении "Болдинская осень": — "Я мертвым был. На тройке окаянной / Меня в село безвестное свезли/ И я лежал в могиле безымянной, / В чужом плену моей родной земли./ Я мертвым был. Года сменяли годы, /Я тщился встать и знал — я не могу./И вдруг сейчас под легким небосводом / Проснулся я на голубом снегу./ Ужели спала с глаз моих завеса / И я могу с сухого снега встать/ И выпал пистолет из рук Дантеса / И бег мгновений обратился вспять?/ И вот иду я узкою тропою, / Лицо свежит неторопливый дождь / И Болдинская осень надо мною/ Златит листву у придунайских рош!"

Автобиография поэта отличается такой же душевностью как и вся его поэзия. Из числа русских людей, помогших ему в трудные годы, он с благодарностью выделяет Г.Г. Панина, с которым его "связала подлинная большая дружба".

Обращаясь к своим читателям, Дм. Кленовский просит поверить, что в стихах "нигде не отошел от своей внутренней правды и ни разу не солгал перед собой, Богом и людьми. Каждое из них искренне, ни в одном нет поэтической рисовки, позы, даже простого преувеличения своих переживаний..."

За 1944-1946 годы он написал около ста стихотворений, а всего издал одиннадцать книг, в которые вошли более 500 стихотворений: След жизни (1950), Навстречу небу (52), Неуловимый спутник (56), Прикосновение (59), Уходящие паруса (62), Разрозненная тайна (65), Избранное (67), Певучая ноша (69), Почерком поэта (71), Теплый вечер (75), Последнее (77).

У Г.Г. Панина сохранился рукой поэта написанный перечень семи наиболее дорогих ему стихотворений: Болдинская осень, Нищая весна, Казенному молчаньем, Памяти горьких лет, Предсмертное и Тёрен.

В оставленных нам стихах то и дело вспыхивают строки, бросающие свет на сцены из детства, юности и зрелых лет. Вот он мальчик: "Пирог с грибами стынет на столе./ Меня зовут. Бегу огромным садом./ Вот этот полдень, в Царском ли селе/ Иль в Павловском, он здесь, со мною рядом..." А вот он "...Отрок, у окна встречает день / Ему не нынче было бы родиться/ Не спит, и царскосельская сирень /К нему слетает песней на страницу".

Пишет и о молодости, просветленно познавая сокровенный смысл разлуки с ней: "Ценил ли я ее усладу/ Ее полураскрытый рот?/ Нет, нам расстаться было надо / И снова встретиться — и вот / Она встает передо мною/ И приближается ко мне / Всё той же, но совсем иною, / Впервые понятой вполне..."

О старости поэт говорит то с юмором, то с легкой грустью, готовый "подружиться с коротким днем" и с "равнодушною подругой-палкой"... Но иногда не выдерживает и, обращаясь к Богу, говорит: "... Ну, а если и к ним я тоже / Так привыкну, что станут мне / И они всех небес дороже / Кто мне землю забыть поможет / В беспощадной Твоей стране?"

Из очень "земных" стихов Дм. Кленовского мы узнаем и о

его отношении к женщине, и к жене в частности. Ей он посвятил множество строк, в которых излил большую любовь, верность и благодарность. Не раз он, представляя ее вдовой, посылает ей утешение из другого мира и пытается ей помочь его забыть: "Я знаю комнату, в которой / Ты будешь плакать обо мне. / Когда? Быть может, очень скоро, / Уже быть может по весне. / Мне будет всё тогда возможно / И, знаешь, я к тебе приду, / Но бережно и осторожно, / И не во сне и не в бреду. / Приду, уйду — и не был будто... / Но если на другой же день / В окно ты улыбнешься утру / И тронешь, проходя, сирень, / И станешь меньше нелюдима, / Одна по улице бродить / Знай, это я вчера незримо / Пришел помочь меня забыть".

Так, он шлет утешение всем, оплакивающим потерю любимого человека, и я не знаю другого поэта, сумевшего сделать это с такой задушевностью. Конечно, и ему знакомы чувства сомнения и разочарования. Но он принимает их как неизбежное: "Расплачиваться надо за вино, / За горсть зерна, за поцелуй беспечный, / За всё, за всё, что здесь тебе дано! / А за любовь? За ту втройне, конечно! / Но вдумайся: не стоит ли она / Такой опустошающей расплаты? / Она была ведь горячей вина, / Необходимее, чем горсть зерна / И всеми поцелуями богата. / Так не скупись на папиросный дым, / На слезы, на отчаянье, на муку / Слепых шагов по улицам ночным! / Плати! Твой ростовщик неумолим: / Вот он опять протягивает руку!"

Для его стихов о любви характерно целомудрие, такое теперь редкое. Он и для физической близости находит образы, не оставляющие сомнений в их смысле, но никогда не звучащие грубо или натуралистично. Вспоминая прошлое, он ишет: "Ту, что себя, как ветку, отдала / Идущему завечеревшим садом / Так ясно, просто подчинясь всему, / Затрепетав лишь от прикосновенья / И надломившись мягко... То мгновенье / Хочу я встретить и спешу к нему / И вот оно со мной в стихотвореньи".

Теме обманутой любви посвящены два мастерских по композиции стихотворения, из которых одно как бы продолжает другое. Вот оно: "Нас было двое. Женщина была / Веселой, молодой и рыжеватой, / Умела лгать и изменять могла, / Не быв притом ни разу виноватой. / Теперь она... — но нет, мне легче с ней / На ты — теперь ты всё уже забыла: / Как

целовала с каждым днем скучней, / Как мучила меня и как убила. / Нет, не сама, конечно! Кто теперь / Сам убивает? Я отлично помню, / Как ты на выстрел распахнула дверь / И кинулась ко мне, и как легко мне / Внезапно стало: я в твоих глазах / Прочел всё то, во что уже не верил / Недоумение, и боль, и страх, / И чувство горькой всё-таки потери. / ...О, если бы из тишины моей, / Из моего прекрасного свершенья / Вернуться снова в ужас этих дней, / Изведать снова всё твое презренье, / Всю ложь прикосновенья твоего / И как последнюю земную милость / Спустить курок — всё только для того, / Чтоб ты опять вот так ко мне склонилась".

О родине, о своем долге перед ней, поэт пишет особенно пцемяще. То его мучит стыд, что "друзья убиты вражьей пулей / Я ж почему-то не убит;"; то он упрекает себя в том, что "в Восемнадцатом / На Кубань, чтобы драться там / Не нашел пути..." Из этого рода стихов, пожалуй, самое сильное — "Незабытое и непрощенное". Оно вошло в сборник "Неуловимый спутник", 1956 г. Стихотворение начинается с солнечного описания ранней юности: "Когда весной — чужой весной / Опять цветет сирень, / Тогда встает передо мной / Мой царскосельский день..." Но светлые воспоминания вытесняются мыслями о покинутых крестах, о любимом поэте... "Что тот, кто нам стихи сложил / О чувстве о шестом / И холмика не заслужил / С некрашеным крестом;/..." и гневные заключительные строки:

Тогда я из последних сил Кричу его врагу: Я всем простил, я всё простил, Но это — не могу!

Несмотря на это "непрощение", поэт не опускается до мстительности. Его родиной стал огромный, открытый для него мир, и, не забывая русские рябины, он его воспевает.

Казалось бы, человек, так страстно любящий жизнь, должен испытывать страх при мысли о смерти. Но от этого поэта спасает вера. Даже в убывающих физических силах Дм. Кленовский умеет найти утешение. Однажды (как он пишет в одном из писем, адресованных Ген. Панину) он, лаская собаку, обратил внимание на свою уже немолодую руку. Так родилось стихотворение "Моя рука" (кстати, Мария Ундер в 1963 году послала

поэту сборник стихов, куда вошел и ее эстонский перевод этого стихотворения). Оно настолько совершенно, что его хочется привести полностью: "Моя рука — день ото дня старей, / Ее удел с душою одинаков. / Немногое еще под силу ей: / Стакан наполнить, приласкать собаку, / Сиреневую ветвь ко мне нагнуть / Ее сломать ей было б тоже трудно, / Да записать стихи, да изумрудной / Студеной влаги с лодки зачерпнуть. / И это всё. Но в скудости такой, / Овеянной вечернею прохладой, / Есть вечности целительный покой, / Есть чистота... — и лучшего не надо! / И хорошо, что силы больше нет / У встречной девушки украсть объятье, / Степному зайцу выстрелить вослед, / Солгать товаришу в рукопожатьи, / Что нетерпенье юности моей / Сменила мудрость осторожной дрожи... / Пусть ты слаба и с каждым днем слабей, / Моя рука — ты мне такой дороже! / Вот на тебя смотрю я без стыда, / Без горечи и радуюсь невольно, / Что ты уже не можешь сделать больно / Отныне никому и никогда".

Это стихотворение было написано в 1947 году, задолго до кончины поэта. Сознание неизбежности ухода у Дм. Кленовского всегда было связано с благодарностью за всё, что он получил от жизни: "... Будь благодарен... — Нет, не перечесть / Всего, за что быть благодарным надо! / Вплоть до креста за низкою оградой / Его могло не быть, а вот он есть!"

Глубокая вера — его Ангел — сопровождают поэта на всех дорогах и он, умудренный опытом долгой жизни, повторяет как заклинание: "Я помню, помню! Этим словом / Всё решено в моей судьбе / Мой ангел, спутник мой суровый, / На всех путях, под всяким кровом / Я буду помнить о тебе!"

Тематика поэзии Дм. Кленовского так многогранна, что я могла здесь коснуться только бегло некоторых ее сторон. С болью говоря о пороках настоящего на любимой им земле, Дм. Кленовский и в стихах, и в своей автобиографии выражает веру в воскресение: "дать хотя бы горсти уцелевших или не окончательно еше погибших русских людей то, что питает тончайшие, незримые артерии этого воскресения — в этом я вижу сейчас задачу русского поэта, а значит, и свою задачу..."

С удовлетворением и радостью он принимает известия о том, что его стихи окольными путями проникают в Россию и

распространяются в списках. Так, русский турист из Парижа, посетивший в Сов. Союзе А.А. Ахматову, рассказал поэту, что видел у нее на полке его сборники, изданные на Западе.

Дм. Кленовский видел в этих далеких читателях предвестников будущей радостной встречи с Россией. Об этом и сказал в стихотворении "Родине":

Между нами двери и засовы. Но в моей скитальческой судьбе Я служу тебе высоким словом, На чужбине я служу — тебе.

Я сейчас не мил тебе, не нужен, И пускай бездомные года Всё петлю затягивают туже — Ты со мной везде и навсегда.

Душное минует лихолетье, Милая протянется рука... Я через моря, через столетья Возвращусь к тебе издалека.

Не спрошу тебя и не отвечу, Лишь прильну к любимому плечу И за этот миг, за эту встречу, Задыхаясь, всё тебе прошу.

Элла Боброва

ХРОНИКА РАСПАДА

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ И М.Н. КАТКОВ

К помещенной в кн. 137 "Н.Ж." заметке Елены Юрьевны Концевич, дочери Ю.С. Карцова, добавляю справку об отношениях Карцова и Леонтьева. К.Н. Леонтьев в 1878 г. провел несколько недель в Петербурге, где подружился с Екатериной Сергеевной Карцовой и ее тремя детьми Юрием, Ольгой и Андреем. Двух старших детей он называл *тигрятами.* Его письма к ним и их матери — одни из лучших образцов его эпостолярной прозы (что отметил и Н.А. Бердяев в своей книге о Леонтьеве). Ольгу Сергеевну он называл "сияющей бездной" и скалой из дикой яшмы, поросшей жасмином и розами. Особенно привязан Леонтьев был к тигренку Юрию, которому тогда было 20 лет. Прочил ему великое будущее — чуть ли не спасителя России от неизбежной, по его мнению, революции. О дружбе с Карцовыми я писал в моей книге Константин Леонтьев. Жизнь и творчество (1974 г.). Ю.С. опубликовал письма Леонтьева к матери, сестре и к нему в сборнике памяти Леонтьева (1911 г.), там же напечатал воспоминания о нем. Называл его "великомучеником красоты".

Ю. Иваск

Две скорбные годовщины были на очереди: К.Н. Леонтьева, писателя-романиста, умершего двадцать лет тому назад (1891 г.), а в следующем году истекало двадцатипятилетие со дня кончины М.Н. Каткова, знаменитого московского публициста (1887 г.)

Мы печатаем еще одну главу из воспоминаний Ю.С. Карцова, любезно предоставленную нам его дочерью Е.Ю. Концевич. РЕД.

Чествование памяти покойных явилось делом небольшого кружка их почитателей, тогда как общественное мнение — характерный признак времени — отнеслось к нему холодно и враждебно.

С Леонтьевым сошелся я и подружился в период русско-турецкой войны, когда я служил в Министерстве иностранных дел, а он, находясь в отставке, приезжал в Петербург в надежде поступить обратно на службу.

С Катковым связывали меня воспоминания отроческих лет, — три года я учился в основанном им Лицее Цесаревича Николая, а затем общая наша политическая деятельность: борьба с принцем Александром Баттенбергским, неудачным ставленником России на престол освобожденной Болгарии и первые несмелые шаги к сближению с Францией.

Жизнь и деятельность Леонтьева протекли в исканиях, тревогах, и были сплошным метанием. Понять и уловить духовный его облик, подвижный и сотканный из противоречий, — задача в высшей степени трудная.

Врач по профессии, наскучив лечением больных, Леонтьев поступил в Министерство иностранных дел и получил место консула в Турции. Но политика, как ремесло, его не удовлетворяла. Служба за границей, просто-напросто ему хотелось создать себе удобную обстановку для занятий литературой.

Натура его, болезненно впечатлительная и неустойчивая, требовала авторитета и дисциплины. Он пошел в монастырь, но не выдержал, вернулся в свет, потом опять в монахи и умер в тайном постриге.

Россию Леонтьев любил, но Россию старую, "Россию проселочных дорог и красных рубашек". Современной он не любил и относился к ней с предубеждением и брезгливо. Вероятно это и была причина, почему романы из русской жизни ему не удавались. Одно произведение — многолетний труд — в припадке разочарования сжег он в камине. Рассказы его "Из жизни христиан в Турции", правда, художественно отделаны, но они однотонны и вялы, как самый быт Востока, который они описывают.

Как мыслителя, сила Леонтьева заключалась не в цельности и законченности системы, а в оригинальности способа мышления

и в отдельных искрометных мыслях, иногда парадоксальных, большею частью глубоких и поразительно верных.

Утилитарные взгляды корифеев шестидесятых годов на искусство Чернышевского, Добролюбова и Писарева: "сапоги выше Шекспира" и т.п., оскорбили сильно в нем развитое художественное чувство. В ответ им изобрел он собственную теорию: эстетика есть основа человеческого бытия и непогрешимое мерило исторической правды. Теорию эту прилагал он к окружающим явлениям и руководствовался ею в сношениях с людьми. Всё, что красиво, в глазах его было аристократично и жизненно, а всё, что некрасиво, носило печать хамства и было мертво.

В России, глядя в зеркало эстетической теории, Леонтьев замечал грозные признаки её разложения и с ясновидением пророка предрекал ей неминуемую гибель. Поэтому с полным основанием его можно назвать писателем эпохи расцвета и упадка. Знакомил общество с его идеями и старался ввести их в моду другой писатель упадочник, публицист "Нового Времени", В.В. Розанов.

Чаяний эпохи Леонтьев не разделял, шел им наперекор и в литературном мире стоял одиноко. Тем не менее, были у него почитатели, которых привлек он оригинальностью воззрений и обаянием своей личности. После его смерти образовали они кружок, поставивший себе целью увековечение его памяти.

Вступили в кружок следующие лица: архиепископ Антоний Волынский (Храповицкий), протоиерей Аггеев, об отношении Леонтьева к православию написавший книгу, К.А. Губастов, сослуживец Леонтьева и преданный его друг, присяжный поверенный Коноплянцев, журналисты Розанов, Александров и Погожев и профессора Никольский и Королев.

В честь Леонтьева задумали они составить и обнародовать посвященный Леонтьеву сборник и мысль свою привели в исполнение. Архиепископ Антоний Волынский удостоил сборник статьей, в которой выразил свой взгляд на Леонтьева с точки зрения православной церкви. На основании разбросанного материала Коноплянцев написал жизнеописание Леонтьева обстоятельное и правдивое. Губастов, Александров и Погожев дали воспоминания, Розанов старую статью для перепечатки.

Профессора Никольский и Королев поместили критические очерки: Никольский о литературных произведениях Леонтьева, Королев об исторических культурных его взглядах.

По приглашению Губастова присоединился к ним и я. В деревне хранились у меня письма Леонтьева к покойной моей матушке Е.С. Карцовой, сестре О.С. Колодеевой и ко мне. Переписку эту отправил я Губастову для напечатания в Сборнике, предпослав ей небольшое воспоминание о покойном. Между прочим, я указал, что во французской литературе параллельно Леонтьеву есть писатель, в основу своего мировоззрения положивший эстетический принцип: Гюстав Флобер.

Изданный в количестве двух тысяч экземпляров по цене два рубля за экземпляр, Леонтьевский Сборник расходился чрезвычайно туго. В течение двух лет продано было всего четыреста экземпляров. Старания кружка прославить имя Леонтьева оказались, однако, не бесполезны: нашлось в Москве книгоиздательство, которое, не побоясь расходов, приступило к изданию полного собрания сочинений Леонтьева.

Когда Сборник был готог и отпечатан, состоялось в Русском Собрании в память Леонтьева торжественное заседание. Архиепископ Антоний Волынский служил панахиду в церкви Собрания, расположенной в верхнем этаже, и произнес прочувствованное слово. После того присутствовавшие спустились по лестнице вниз и наполнили зал, где согласно программе профессора Никольский и Королев перешли к чтению лекций.

Говорили они увлекательно и с талантом. Мастерски прочел Никольский юмористическую сцену из романа Леонтьева. К сожалению, живого Леонтьева никогда они не видали и живого представления о нем по этой причине им недоставало. С высоты кафедры про Леонтьева раздавались умные речи, аудитория одобряла и рукоплескала. Но мы, знавшие Леонтьева и помнившие его, почувствовали: это был другой Леонтьев, не настоящий.

Куда девался он, наш милый Константин Николаевич, с его фантазиями, причудами, страданиями и гневом, старосветский помещик — враг железных дорог и прогресса, зоркий наблюдатель бытовых явлений, мрачный предвещатель неотвратимой гибели России, эстет-язычник и монах православноверующий,

философ-пессимист и упадочник? Вместо него Никольский изобразил черносотенца-озорника, каким был он сам, а Королев — накрахмаленного француза академика из Journal des Débats.

Я хотел было возразить, но председатель князь А.Н. Лобанов-Ростовский, под предлогом — прения вызовут обмен резкостей и нарушат чинный характер заседания, мне не дозволил. В результате Леонтьев остался подмененным. Большой беды, впрочем, тут не было, благо публика не заметила и не догадалась.

Но был другой деятель — величина несравненно более крупная, — ненависть и мстительность радикальной интеллигенции возбудивший в сильнейшей степени.

Когда, подчиняясь голосу общественного мнения, царь отрекся от полноты власти и даровал конституцию, заветы Каткова потеряли свое действие. В его защиту не дерзали вымолвить слова ни царская власть, кругом ему обязанная, ни прежние его друзья и сотрудники, ни собственные его дети.

Что сталось с архивом Каткова? Теперь, когда обсуждались конституционные вопросы, приподняв завесу прошлого, ознакомиться со взглядами Каткова на те же вопросы являлось как нельзя более кстати. Опубликование бумаг Каткова, вождя и апостола монархизма, нарушило бы образовавшийся вокруг его имени заговор молчания — обстоятельство, с точки зрения монархической пропаганды, чрезвычайно желательное.

Не зная, как помочь делу, обратился я к председателю Императорского Исторического Общества Великому князю Николаю Михайловичу с просьбой содействия. Указывая на государственное значение архива Каткова, — Вашему Высочеству семья Катковых не откажет выдать документы, — писал я великому князю.

Через несколько дней пришел ответ. Набранный на машинке он был короток и ясен: "Катков и его бумаги не входят в круг моих занятий". Следовала подпись: "Николай".

Второй сын Каткова, генерал-майор Павел Катков, бывший кавалергард, был моим товарищем, одноклассником по Катковскому Лицею. Хотя причисленный к Министерству внутренних дел он жил вместе с семьей в имении около Ялты, а в Петербург приезжал по делам. В один из приездов в ответ на мою записку,

я хочу его видеть, он позвал меня завтракать в ресторан гостиницы армии и флота.

Побеседовали мы с ним о предметах нам близких: о былых "Московских Ведомостях", об увековечении имени Каткова и судьбе его архива.

"Архив отца моего, — продолжал Павел Катков, — находится в подмосковном имении нашем Знаменском. Долгое время лежал он, связанным в тюки, в отдельной избе. Произошел пожар. Слава Богу, удалось его затушить и спасти архив. Бумаги, тем не менее, сильно подмокли. Потом их раскладывали и сушили на солнце. Кроме того, часть документов хранится у брата Андрея и сестры Софии Михайловны Энгельгардт; письма отца к императору Александру III у меня. Я захватил их, чтобы тебе показать", — и Катков протянул мне толстую, переплетенную тетрадь.

Взяв тетрадь, перелистал я ее с большим вниманием.

"Императрица Мария Федоровна не разрешает печатать эти письма, — сказал в заключение Катков. — По-видимому, ей было неприятно, если бы обнаружилось, что царь действовал не самостоятельно, а по внушению отца".

Право, которое императрица Мария Федоровна себе присвоила, цензуровать печатные произведения, прямо или косвенно затрагивавшие минувшее царствование, не стояло в законе. Когда я печатал мой очерк "Сергей Спиридонович Татищев", пришлось мне изведать сладость этой цензуры. На нее досадуя, сколько раз совершил я путешествие из канцелярии Секретаря в Министерство двора и обратно.

Попечение вдовы о памяти мужа заслуживает всяких похвал. К сожалению, в данном случае выразилось оно исключительно отрицательным образом. Располагая обширнейшими материалами и средствами, императрица Мария Федоровна и фактотум её по части истории граф Сергей Димитриевич Шереметев сами ничего не издавали и не печатали, а только ставили палки в колёса безобидным людям, которые, как я, интересовались эпохой.

С Павлом Катковым после долгого совещания остановились мы на следующем: летом я приеду к Катковым в подмосковное имение их Знаменское и буду заниматься архивом. По этому

поводу Катков переговорит со своими и меня уведомит.

День клонился к вечеру. Я было задремал на диване, как вдруг раздался звонок и вошел молодой человек мне незнакомый, высокий, стройный, одетый с иголочки. Это был внук Каткова, сын его дочери, баронессы Софьи Михайловны Энгельгардт.

- Мать моя, баронесса Энгельгардт, обратился он ко мне, приехала в Петербург и остановилась на Сергиевской улице у дочери своей госпожи Муравьевой. Она желала бы вас видеть по вопросу обнародования архива деда моего, Каткова.
- Передайте вашей матушке, что я явлюсь к ней не позже, как через час.

Сыновья великих людей тяготятся ролью быть носителями чужой славы, которую навязала им судьба. Самолюбие их слишком страдает. Дочери переносят это чувство несравненно легче.

Софья Михайловна Энгельгардт, небольшого роста, полная, с круглым лицом, производила впечатление хорошей женщины и доброй матери семейства. Отца она любила и память его почитала. Но какими заслугами он себя прославил, почему одни его превозносили, а другие ругали беспощадно, такими мудрёными вопросами она не задавалась.

Знала она меня понаслышке, встретила, однако, как старого знакомого. Вспомнили мы с ней о былой Москве, о братьях её и сёстрах. Подробно рассказала она мне про сына, служившего в Государственной канцелярии и собиравшегося перейти в Министерство иностранных дел. Дочь её, Муравьева, молодая элегантная дама, только что вернулась из Михайловского манежа, где любовалась зрелищем concours hippique. В толпе потеряла она или у нее украли ценное украшение. Софья Михайловна её утешала.

Я сидел и слушал, терпеливо ожидая, когда настанет очередь и Каткову.

- Императрица Мария Федоровна не дозволяет обнародовать бумаги моего отца, к цели моего посещения косвенно и словно нехотя подошла Софья Михайловна.
- Запрет императрицы распространяется лишь на короткий промежуток царствования императора Александра III, —

возразил я с живостью. — Общественная и литературная деятельность покойного Михаила Никифоровича началась гораздо ранее. Архив его, заключающий в себе письма к нему великих русских писателей и выдающихся государственных деятелей — славная летопись чуть ли не сорокалетнего периода русской истории. Но, даже если и не обнародовать архив, всё-таки необходимо разобрать его, составить список документам, с важнейших из них снять копии и т.п.

- В шифоньерке лежат у меня письма Бакунина, в подтверждение моей мысли отозвалась Софья Михайловна.
 - Вот видите. Почему бы их не напечатать?

На прощанье Софья Михайловна обещала: вернувшись в Москву, она постарается уговорить мать свою, престарелую Софью Петровну, допустить меня заняться архивом.

Но, как только коснулась она больного места, обнародования архива, Софья Петровна Каткова встревожилась и заупрямилась: "Опять пойдет газетная травля и начнут трепать и порочить имя моего мужа. Нет, дайте умереть спокойно. Пока я жива, я не позволю печатать архива", — ахала и вздыхала старушка.

Катков — тема жгучая и опасная. Царю, вопреки завету Каткова, даровавшему Конституцию, очень понятно, была она не по сердцу. Интеллигенты, нагло водворившиеся в Таврическом дворце, министры, конституционные бюрократы, не в полноте, а в дележе царской власти видевшие спасение России, боялись — воскреснет и возобладает доктрина Каткова и называли её революцией справа. Страха ради иудейского, не дерзали исповедовать мужа и отца собственная жена его и родные дети.

Всесокрушающим вихрем пронеслась над Россией революция. Где теперь бумаги Каткова? Целы ли они или потонули безвозвратно в омуте большевизма? Напечатать их было бы вернейшим средством сохранить их для потомства. Я предупреждал и заклинал, но вотще.

При таких условиях нет ничего удивительного, если чествование памяти Каткова прошло скромно и незаметно, ещё скромнее, нежели чествование К.Н. Леонтьева. Тогда действовал целый кружок почитателей, а теперь хлопотал и поспевал

один я.

На заседании Русского Собрания в память Каткова, которое, благодаря поддержке Пуришкевича, удалось мне устроить, официальные круги, при жизни покойного считавшиеся с каждым его словом, блистали отсутствием. Монархические организации, от них зависевшие, сочувствия не выказали и не явились. Ученые общества и университеты не почтили памяти того, кто в течение более полувека читающую и мыслящую Россию держал под обаянием своего пера, последнего могикана лучших традиций русской литературы. С высоты подмосток зал казался пустым. Заняты были только передние ряды стульев.

Из лиц, занимавших служебное положение, присутствовали: сенатор Власий Судейкин, бывший воспитанник Лицея Цесаревича Николая, и помощник Варшавского генерал-губернатора Любимов, сын известного сподвижника Каткова.

Взойдя на кафедру, прочел я небольшой доклад. Каткова сравнил я с ветхозаветным пророком, который, по выражению Пушкина, "глаголом жег сердца людей". При двух императорах — Александре II и Александре III, — Катков был подобен пророку Самуилу. Из воспоминаний моих "Семь лет на Ближнем Востоке" привел я выдержки касательно последней фазы деятельности Каткова, борьбы его с Гирсом и неудовольствия на него императора Александра III. "Не мы нужны Каткову, а он нам нужен, — закончил я доклад. — Ныне, когда заколебались устои и грозят обрушиться, всё, чему он нас учил, настало время вспомнить и обновить".

После меня говорил член Третьей думы Володимиров. В год смерти Каткова кончал он курс в Лицее Цесаревича Николая. Он рассказал, как приезжал в Лицей Катков, согбенный и удрученный старец. Воспитанники догадывались — его томит тайная скорбь, но причину её, которую я только что изложил в докладе, они не знали.

На кафедре сменил Володимирова высокий и сухой восьми-десятилетний старец Пороховщиков.

Архитектор по профессии, он был известен, как строитель гостиницы на Никольской улице "Славянского Базара", а главное тем, что в 1876 году в разгар сербо-турецкой войны ездил с депутацией в Ливадию просить Императора Алексан-

дра II вступиться за сербов.

Речью своею перенес он слушателей в далекие дни апогея славы Каткова. В ответ на выступления западноевропейской печати в защиту поляков "Московские Ведомости" только что завершили блестящую кампанию. Московский английский клуб, выражая патриотические чувства населения первопрестольной столицы, в честь редакторов М.Н. Каткова и П.М. Леонтьева давал парадный обед, в котором участвовал и Пороховщиков. Оба редактора М.Н. Катков и П.М. Леонтьев сидели в центре стола на почетном месте. Кем-то поднят был вопрос: где кончается Леонтьев и где начинается Катков? Вопрос этот обсуждался при дружном смехе, но удовлетворительного его решения найти никто не смог, ни сами юбиляры. Постановлено было общим голосом: Катков и Леонтьев составляют одно неразрывное целое. Затем еще говорили: редактор "Света" И.А. Баженов о Каткове, как публицисте, и Пуришкевич о государственном значении Каткова.

Публики собралось, правда, немного, зато это были свои люди, которых сближали одинаковые убеждения и воспоминания. Под впечатлением прочувствованных речей о Каткове, настроение расшевелилось и согрелось, и вечер принял интимный характер. По предложению председателя, сенатора Римского-Корсакова, присутствовавшие встали и находившимся в зале дочерям Каткова, госпожам Иваненко и Рогович, сделали маленькую овацию.

В заключение остановлюсь на вопросе: чем объяснить неудачу, постигшую чествование памяти Каткова, непримиримо враждебное отношение русского общества к этому государственному деятелю и какой надлежало отсюда сделать вывод?

Катков воплощение и символ идеи государственности: Россия и всё для России. Начиная с конца сороковых годов берет верх другая идея, противоположная, идея свободы личности и предоставления ей неограниченного простора, вплоть до анархии. Проявляется она на первых порах в горячих протестах против крепостного права. В этом смысле весьма знаменательны знаменитое письмо Белинского Гоголю и "Записки Охотника" Тургенева.

Но и после отмены крепостной зависимости поход против

государственности не прекратился, а возобновился с ожесточением. Карамзинские идеи любви к отечеству и народной гордости никого более не увлекали и подвергались осмеянию. Сатира Салтыкова "История одного города" сплошной пасквиль на историю России. В рассказах, полных вульгарного юмора, Лесков нападал на церковность, развенчивал аскетизм и глумился над архиереями. Всех дальше пошел граф Лев Толстой. Положив в основу своего учения принцип непротивления злу, обезоружил он государственную власть и отнял у неё способы воздействия: принуждение и кару.

Такая проповедь не могла пройти бесследно и принесла горькие плоды. Падение значения Каткова означало крушение идеалов государственности и великодержавия, развал империи и торжество анархии. Властителем дум был уже не Катков, а граф Лев Толстой. Почва для большевизма была возделана и дорога свободна.

Что же памятник Каткову на Страстном бульваре, о котором мечтал Константин Николаевич Леонтьев? Непременно хотел он дожить и поглядеть, как нигилисты будут ходить кругом этого памятника и с досады кусать себе ногти.

В виду последовавших событий можно только порадоваться, что памятник этот воздвигнут не был и, таким образом, миновал разрушения и поругания черни.

Но время возьмет свое, страсти улягутся и образуется историческая перспектива. Взамен нигилистов появятся другие крайние, но этим злобствовать на Каткова не будет основания и ногтей грызть не придется. Подобно Парижу, пожелает Москва площади и скверы украсить памятниками лучших сынов, трудами и подвигами прославивших родной город.

Тогда и Катков получит свой памятник. Задумчиво и величаво воссядет он в креслах, с пером в одной руке, с листом корректуры в другой, перед окнами кабинета, в тиши которого проводил он ночи за работой, на том Страстном бульваре, где помещалась незатейливая редакция "Московских Ведомостей", и где жил сам Катков.

МОЯ ВСТРЕЧА С А. Л. ТОЛСТОЙ

Мы встретились в Нью Йорке в шестидесятых годах. Будучи главой русского отдела в университете Южной Африки в Претории я прилетела в США, чтобы лучше ознакомиться с преподаванием русского языка и литературы в американских университетах.

В тот, как оказалось потом, знаменательный для меня день я сидела в кабинете одного из доцентов в русском отделе, который рассказывал мне, как он и многие другие русские были спасены от репатриации после второй мировой войны исключительно благодаря усилиям Александры Львовны и её сотрудников.

"По приезде сюда, я был представлен Александре Львовне и первые месяцы, пока не нашлась мне работа по специальности, провел на Толстовской ферме. Какая замечательная женщина! Сколько она сделала добра! Вы с ней не знакомы?".

"Нет, но я много слышала о ней от моей тёти, которая её хорошо знала и также от настоятеля нашего русского православного прихода в Иоганнесбурге о. архимандрита Алексея. Он даже просил меня передать ей привет, если бы у меня была возможность с ней повидаться".

"Так чего ж вы ждёте? Ведь штаб-квартира Толстовского Фонда в Нью Йорке и Александра Львовна почти всегда здесь. Отчего вам не позвонить ей сразу же?"

И не давая мне времени одуматься, он набрал номер телефона и передал мне трубку.

"Кто говорит?" — спросил не очень дружелюбный голос, поанглийски.

Я назвалась по-русски.

"Что вы хотите?"

"Я хотела бы свиданья с Александрой Львовной".

"С какой целью? Вы журналистка или собираетесь обратиться к ней с просьбой о материальной помощи?"

"Ни то ни другое. Я преподаю в университете в Южной Африке, где и живу и просто очень хотела бы с ней познакомиться".

Наступило молчание. Моя собеседница очевидно просматривала записную книжку интервью Александры Львовны. Наконец я вновь услыхала её голос.

"Будьте здесь в четверг, такого-то числа, ровно в четверть третьего. Это будет как раз через три недели".

"Я очень сожалею, но для меня это совершенно невозможно".

"Как так? Александра Львовна очень занята. Многим приходится ждать месяцами. Вам повезло, что мне удалось втиснуть вас и так".

"Я улетаю обратно в Южную Африку завтра".

"Вот как! А когда ж вы собирались повидаться с Александрой Львовной. Уж не сегодня ли?"

"Сегодня для меня единственный возможный день".

"Вы, быть может, воображаете, что дочь Толстого сидит тут только для того, чтобы удовлетворять праздные желания посетителей как вы и принимать их когда это им вздумается!"

"Я только сегодня узнала, что Александра Львовна в Нью Йорке и решила попробовать повидать её. Если так суждено — выйдет, а если нет — значит не судьба!.. Простите, пожалуйста, что я побеспокоила вас". И я собиралась повесить трубку.

"Подождите минутку. Я посмотрю, может быть, в виду того что вы издалека и не сможете снова приехать, мне удастся урвать минут десять для вас сегодня".

Я ждала.

"Сейчас половина первого. Если вы будете здесь точно в два часа, то сможете побыть десять минут у Александры Львовны — не больше. Предупреждаю вас, таково условие, не больше. Вы должны понять, что — ни ей ни мне, её помощнице, неловко как бы выгонять вас. Я и так делаю вам очень большое одолжение из-за ваших особых обстоятельств. Итак вам всё ясно?"

"Совершенно. Благодарю вас от всей души".

Без двух два я позвонила в 989 Восьмой авеню. Молодая машинистка повела меня к сотруднице Т.А. Шауфус.

"Ну, по крайней мере, Вы хоть точно вовремя пришли, помните, что я вам сказала".

Голос её звучал более милостиво и она направилась к двери кабинета Александры Львовны. Постучав и получив ответ, она открыла дверь, пропустила меня вперёд и ушла.

Я стояла на пороге светлой, не очень большой комнаты. Слева от входа, насколько я помню, было несколько стульев. Справа же поперёк задней части кабинета стоял объёмистый письменный стол. За ним сидела младшая дочь Толстого, поразительно похожая на портреты своего отца. Те же неправильные черты лица, высокий лоб и проницательные голубые глаза. Брови её были слегка сдвинуты. Она не пригласила меня сесть, а, взглянув вопросительно на меня, сказала:

"Что вам угодно?"

"Вам шлёт привет настоятель нашей русской Зарубежной церкви в Южной Африке о. архимандрит Алексей, который давно вас знает".

"Я не знаю никакого отца архимандрита Алексея", — ответила Александра Львовна слегка высокомерно (позднее я узнала, что она знала его до пострига в монахи под именем Александра).

В тот момент мне стало ясно, что она подумала, что это просто предлог с моей стороны, чтобы, быть может, хвастнуть потом, что я познакомилась с дочерью Толстого. Она пристально смотрела на меня и мне казалось, что я читаю её мысли. — "Ну, повидала дочь Толстого и довольно с тебя".

Было очевидно, что она ждала, чтобы я откланялась. И двух минут было довольно для какой-то самозванки.

Но вместе того, чтобы выйти, я закрыла дверь и, сделав шаг вперёд, сказала ей.

"Есть еще другая причина, почему я хотела познакомиться с вами".

"Какая же это?" — спросила она, чуть-чуть надменно.

"Моя тётя рассказывала мне много о вас. Вы были вместе с

ней в тюрьме после революции".

Она не двинулась с места, но выражение её лица изменилось. Она смотрела теперь с глубоким вниманием.

"Вы говорите, я была с ней в тюрьме? Как звали вашу тётю?"

"Тамара Каульбарс".

"Тамара Каульбарс? — повторила она. — Ваша тётя? Неужели?"

Я наклонила голову. Александра Львовна вскочила с своего места, бросилась вдруг ко мне и, тряхнув меня за плечи, заговорила скороговоркой...

"Где она, ваша тётя теперь? Узнав, что ей также удалось выехать за границу, я пробовала её найти, писала ей, предлагала сразу же послать ей аффидэвит, но никогда не получила ответа.... Вы знаете, кто она такая, ваша тётя? — я молчала. — Это святая женщина! Где она сейчас? Почему вы сразу не сказали, что вы её племянница?"

Александра Львовна усадила меня на стул и села рядом.

"Говорите скорее. Не держите меня в неизвестности".

"Тётя Тамара ослепла уже несколько лет тому назад и скончалась в одном доме для престарелых под Парижем".

Весь пыл нетерпения покинул Александру Львовну. Она перекрестилась и тихо произнесла: "Я опоздала, сбылась воля Господня. Да упокоит Он светлую душу её..." Она молчала некоторое время и затем снова обратилась ко мне.

"Отчего вы не обратились ко мне раньше, хоть бы написали. Я сделала бы что угодно для неё".

"Потому что это было бы против воли тёти. Она верила в милость Божию, жила для других и ничего не искала для себя".

"Да, это правда. Такой она была уже в тюрьме. Такие люди, как она, не меняются". Она глубоко вздохнула.

В этот момент приоткрылась дверь и сотрудница Александры Львовны грозно взглянула на меня, указывая на свои часы. Дочь Толстого сделала ей знак не тревожить её. Дверь бесшумно закрылась.

Долго сидела Александра Львовна, смотря куда-то вдаль, и наконец снова заговорила.

"Вы были еще ребенком и не можете помнить всех ужасов

революции и гражданской войны. Вы не можете себе вообразить, что представляли из себя советские тюрьмы уже в то, ныне далёкое, время. Политических якобы преступниц, вроде вашей тёти и меня, сажали вместе с уголовными и проститутками. Мы не имели никаких прав. Озлобленные против "буржуек" они отнимали у нас теплую одежду зимой, нашу жалкую пищу и насмехались над нами, поощряемые в этом нашими охранниками. То были, главным образом, озверелые парни, но бывали среди них еще такие, которым стыдно было выслушивать неприличные предложения и видеть циничные жесты таких, тоже потерявших всякий стыд, беснующихся, ожесточенных женщин.

Каждый день прибывало всё больше заключенных. Не хватало мест. Многих отсылали в другие тюрьмы, в провинцию, со временем в лагеря. Но был еще более простой способ. На перекличке вызывали одних с вещами, других без вещей. Последнее значило расстрел. В расход брали только политических и никогда никто не знал, когда наступит его черёд...

То был своего рода ад. Физические лишения: голод, холод и так далее не были самым страшным — даже не страх смерти, которая сторожила нас и витала вокруг, но явилась бы своего рода избавлением. Самое страшное было потерять свой подлинный человеческий облик.

Казалось не было никакого выхода, и я даже думала о самоубийстве, хотя знала, веря в Бога, что такой исход был соблазном и что надо бороться с этим искушением.

И вот однажды, когда я была на грани отчаяния и стояла одна в толпе чуждых других, ко мне подошла довольно моложавая с виду, рыжеволосая женщина. Она протянула руку мне, говоря: "Я знаю, кто вы. Меня зовут Тамара Каульбарс. Я знаю, что у вас в мыслях и на душе. Я сама прошла через то же и вот хочу вам сказать только одно: если полностью довериться воле Божьей и Его милосердию, то может все быть хорошо, где бы вы ни были, что бы ни сделали с вами. Веруя, всё можно перенести". Говоря это, она смотрела мне прямо в глаза. Я почувствовала прилив новых сил и какую-то благодать, которая через неё нисходила и в меня...

Эта встреча была началом нового восприятия всего происходящего вокруг и во мне самой... Наши нары были рядом. Падая

в изнеможении на наши мешки, набитые сбившейся соломой, после изнуряющего весь организм в нечеловеческих условиях рабочего дня, мы делились всем, что было на душе... Да, то были подлинно проблески во тьме. .."

Дверь снова приоткрылась.

"Спасибо, я знаю, который час, но, пожалуйста, не тревожьте меня пока. Тут особые обстоятельства". Дверь закрылась.

"Как странно, — продолжала Александра Львовна, — если бы вы не упомянули имени вашей тёти, то у нас с вами не было бы и встречи. Меня посещают не только нуждающиеся в помощи, для которых я готова сделать что могу, но и просто любопытные из-за моего отца, а потом часто пишут обо мне статьи и рассказывают всякие небылицы... Эта встреча сегодня погружает меня вновь в былое, так далеко отошедшее как будто, но подсознательно всегда живущее своей обособленной жизнью в недрах моего я..."

Она стала говорить о себе, о своём беспокойстве о будущем Толстовского Фонда, о перспективах и будущности русских беженцев в рассеянии, о смысле всех пережитых испытаний на родине и на чужбине...

Я сидела молча, слушая её. Мне казалось, что она забыла обо мне вообще и делилась всем теперь вслух с моей покойной тётей. То было излияние благородного русского сердца...

Где-то пробило пять часов.

"Дорогая Александра Львовна, у меня свидание с одним профессором в четверть шестого. Я не знаю его лично и не могу опоздать. Простите меня. Мне так не хочется уходить от вас..."

Она быстро поднялась. Я последовала её примеру. Мы стояли друг против друга. Она мягко положила руки на мои плечи говоря: "Вы живете в Южной Африке. Это на краю света от нас. Когда-то во время англо-бурской войны мой отец и все мы в Ясной Поляне читали все донесения с театра военных действий в Южно-Африканских республиках. Русские симпатии были на стороне жертв агрессии — буров. Всё это было давным давно... Там наверно всё совершенно иначе теперь. Это ведь независимая страна... Время от времени мы читаем о беспорядках, даже мятежах среди вашего не белого населения... Вы не боитесь

возвращаться туда? Разве это необходимо для вас? Вам легко можно было бы устроиться и здесь".

"Я вышла замуж за южноафриканца английского происхождения. У меня семья там. Это теперь как бы моя страна".

"Я понимаю всё это, но не тревожит ли вас мыль, что ваши менее цивилизованные жители из чернокожих могут решить отделаться от своих белых покровителей и, зажарив их на сковородках, полакомиться ими?"

Я только улыбнулась. Что я могла сказать ей в ответ?

"Да, — добавила она задумчиво, — у каждого из нас свой жизненный путь, только никто из нас не знает, что ждёт его впереди..."

Затем она добавила снова, как бы придя в себя.

"Я не хочу, чтобы вы опоздали из-за меня, но хочу попросить вас пообещать мне что-то".

"Если это возможно".

"Вполне. Если там у вас разгорятся страсти и наступит опасность для жизни, пожалуйста, тотчас же пришлите мне телеграмму. Я же, получив её, пошлю вам аффидэвит на вас и вашу семью для въезда сюда. Имя Толстого всё же значит что-то еще в некоторых местах!"

Александра Львовна перекрестила меня, обняла, поцеловала и, подтолкнув слегка, направила к двери. Последние её слова были: "Сохрани вас Господь и Его пресвятая Матерь от всякого зла".

Я никогда больше не встречалась с Александрой Львовной. Когда я еще два раза прилетала в США, я не сообщила ей об этом. Встреча с ней была такой благодатной, как бы даром свыше, что я хотела сохранить ее во всей её цельности в моей памяти.

Позже я послала ей описание моей поездки в Россию с повествованием о встречах с людьми и о посещении разных церквей. То были люди, которые, несмотря на преследования, не только не потеряли, но углубили свою веру в Бога и Его промысел.

В ответ я получила очень сердечное письмо от Александры Львовны, хорошо помнившей нашу встречу. Теперь, когда она

отошла в иной мир, это письмо, которое я сохранила, стало мне еще дороже.

Елизавета Фокскрофт, 1979

К ПОХИЩЕНИЮ ГЕН. КУТЕПОВА

В этой книге мы печатаем рецензию С. Л. Войцеховского на недавно вышедший замечательный труд Б. В. Прянишникова "Незримая Паутина". Этот труд очень многих лет документально освещает большевицкую провокацию и провокаторов, действовавших в самой многочисленной части первой русской эмиграции — в ее военно-монархическом секторе, в РОВСе и в его т.н. "Внутренней Линии". Многие провокаторы в "Незримой Паутине" названы, о некоторых лицах собраны факты, заставляющие подозревать их в связи с "незримой паутиной" ОГПУ. Имя ген. Б. А. Штейфона в "Незримой Паутине" почти не упоминается. Мы считаем исторически ценными присланные нам воспоминания д-р В. М. Зернова и публикуем их, так дополнение исключительно важному сказать. к Б. В. Прянишникова "Незримая Паутина". Автор воспоминаний никого не обвиняет, он просто рассказывает о фактах, над которыми невольно приходится задуматься. РЕД.

До сих пор исчезновение генерала Кутепова покрыто тайной. 7 лет спустя, 22-го сентября 1937-го года, исчез генерал Миллер. Стало известным предательское участие в его гибели члена Обще-Воинского союза генерала Скоблина, его жены известной певицы Плевицкой и видного общественного деятеля Третьякова.

На основании обстоятельств похищения генерала Кутепова можно утверждать, что в этом преступлении, как и в деле генерала Миллера, принимал участие один из приближённых ген. Кутепова. Но имя предателя до сих пор не было обнаружено.

Прошло 48 лет Кто же предатель?

Уехав из России, вся наша семья жила в продолжение нескольких лет в Югославии. Мой отец, доктор Зернов, работал на сербском курорте, Варнячка Баня. В 1923 году к нему обратился, приехавший лечиться на этом курорте, поселившийся в то время в сербской провинции бывший начальник штаба ген. Кутепова и комендант Галлиполи, ген. Б. А. Штейфон. Два года перед тем с ним познакомилась моя покойная сестра С. М. Зернова, когда она ездила из Константинополя посетить лагерь Русской армии в Галлиполи. В продолжение нескольких лет он приезжал на курортное лечение и был пациентом моего отца. У нас установились с ним дружеские отношения, но особой симпатией генерала пользовалась моя сестра, со своей стороны видевшая в нём героя и борца за освобождение России (мы все тогда ещё жили в иллюзиях, что борьба с советской властью может возобновиться и в ближайшем будущем возможны перемены в России).

Плотный, небольшего роста со стеклянно серо-голубыми глазами, в генеральской форме, с военной выправкой ген. Штейфон всё делал по-генеральски, и говорил, и смеялся и даже ходил важно, размеренно, как будто чувствовал своё превосходство над обыкновенными штатскими. Живя в провинции, он, по его словам, писал историю военного дела, иногда куда-то уезжал. В 1926 году наша семья переселилась в Париж.

В начале января 1930 года моя сестра под величайшей тайной сообщила только мне одному, что в Париж приехал ген. Штейфон. Приехал он прямо из России, секретным образом, был в Одессе, привёз ей мешочек родной русской земли. По его словам, в России широко развивается деятельность мощной противобольшевицкой организации. Приехал он в Париж специально, чтобы собирать большие средства на эту работу. Но никто не должен знать о его пребывании в Париже. Вместе с тем он просил мою сестру указать ему лиц, могущих сделать крупные пожертвования и помочь ему организовать с ними встречи.

Моя сестра и я обдумывали, к кому бы можно было

обратиться по этому делу. В то время С.В. Рахманинов давал концерты в Европе. Мы были с ним хорошо знакомы и моя сестра обратилась к нему. Он очень заинтересовался этим делом, желая содействовать борьбе с большевиками и обещал помочь деньгами. Была назначена встреча С.В. Рахманинова и ген. Штейфона на первую половину февраля.

Моя сестра и я, конечно, сохраняли в тайне пребывание генерала в Париже. Моя сестра видела его всего 2 или 3 раза. Я же его и не видел совсем.

Вдруг, за несколько дней до 26-го января, когда должен был быть бал Московского Землячества, к нам домой, на улицу Вожирар, совершенно для нас неожиданно приходит генерал Штейфон. Мои родители были удивлены его увидеть, предполагая, что он пребывает в Югославии. Моя сестра и я были ещё более удивлены его визитом оттого, что он внезапно раскрыл тайну своего приезда в Париж. Мой отец, занятый в это время организацией бала и распространением на него билетов, стал усиленно приглашать генерала прийти на предстоящий вечер Землячества. Он отказался и обещал собраться к нам как-нибудь на завтрак. Но накануне бала, в субботу, он вновь пришел к нам и заявил, что решил повидать русскую колонию в Париже, взял билет и обещал прийти на следующий день на бал. Мы поджидали его на балу и даже задержали для него место за нашим столиком во время кабаре. На балу его не было. После бала мы узнали зловещую новость об исчезновении ген. Кутепова. На следующий день, в понедельник, ген. Штейфон зашел к нам. Конечно, разговор сразу коснулся похищения ген. Кутепова. Генерал Штейфон рассказал, что он собирался быть на балу, но утром зашел к генеральше Кутеповой, заговорился с ней, а потом, когда она начала беспокоиться запозданием мужа, он стал ее успокаивать, уверенный, что генерал где-то задержался и таким образом провел у неё большую часть дня.

В краткой вступительной статье сборника памяти ген. Кутепова ген. Миллер так описывает эти часы: "Семья Кутепова ждала его к завтраку. Александр Павлович не пришёл. Предположили (кто предположил? ген. Штейфон?), что он задержался на Собрании. Днём он должен был с женой и сыном отправиться за город, но пробило 3 часа, а его всё нет (в 3 часа

он с женой и сыном должен был ехать в Медон). Обеспокоенная Лидия Давыдовна посылает верного денщика Федора в Галлиполийское Собрание (трудно объяснить почему Л. Д. так долго ждала, по-видимому, ген. Штейфону удавалось успокаивать) узнать о причине задержки генерала. И через час Фёдор возвращается и докладывает, что генерал утром в Галлиполийском Собрании не был (48 лет спустя трудно выяснить, почему Фёдору понадобился целый час, чтобы сходить в недалеко расположенное Галлиполийское Собрание). Ужасное предчувствие, что с Александром Павловичем случалось какое-то несчастье страшно Лидию Давыдовну. Несчастный случай? взволновало Преступление? Вызванный ген. Стогов, начальник военной канцелярии (опять всё идёт очень медленно) поспешил к полковнику Зайцеву, ближайшему сотруднику ген. Кутепова. Полковник Зайцев, поражённый необъяснимым для него длительным генерала, отсутствием сейчас же дал знать этом префектуру".

В этом описании, как и во всех сообщениях о похищении ген. Кутепова, имя ген. Штейфона не упоминается, он остается в тени, между тем он провел большую часть этого рокового дня у генеральши Кутеповой. Вместо того чтобы поднять тревогу и немедленно известить кого следует об отсутствии ген. Кутепова, он успокаивает "обеспокоенную" и "страшно взолнованную ужасным предчувствием" жену генерала.

По-видимому, он и был причиной того, что так медлительно и так поздно была поднята тревога.

Денщик пошел справляться об опоздании генерала, когда уже "пробило 3 часа", "вернулся через час". Потом вместо того, чтобы сразу поднять тревогу "вызывают" ген. Стогова, а он в свою очередь отправляется, "спешит" к полковнику Зайцеву. Было бы вполне нормально сразу же, не в 3, а в 2 часа отправиться в Собрание и, не найдя там генерала, немедленно поднять тревогу.

Больше мы ген. Штейфона не видели. Через несколько дней он позвонил моей сестре по телефону и сообщил, что возвращается в Югославию. Встреча с Рахманиновым отменена! Его отъезд показался нам странным. Мы обратились к генералу Шатилову, одному из главных деятелей Обще-Воинского Союза.

Он заверил нас, что генерал Штейфон никогда в Россию не ездил, а был неоднократно в Румынии и находился в связи с Румынской разведкой ("сигуранца"), пользовавшейся репутацией, что она находится в сношении с НКВД.

А как же мешочек с родной русской землей?

А сбор средств на тайную работу в России?

А назначенная встреча с Рахманиновым?

Мы обратились к Бурцеву, ведшему от себя расследование по делу Кутепова, — он заявил нам, что, по его данным, ген. Штейфон является одним из участников похищения.

Интересно отметить, что семь лет спустя после похищения ген. Миллера при обыске на квартире Скоблиных были обнаружены 4 фальшивых югославских паспорта¹. А ген. Штейфон жил в Югославии. Его рассказ о поездке в Россию, "тайное" пребывание в Париже, обещание быть на балу 26-го января, утренний визит на квартиру ген. Кутепова во время его похищения — всё это трудно объяснить.

Теперь через 48 лет можно ли ответить на вопрос: кто был предатель? Кого встретил ген. Кутепов около 11 часов утра 26 января 1930 года на углу улицы Севр и бульвара Инвалидов? Мы знаем только одно, что ген. Штейфон в это же время был там, совсем близко, в двух шагах; не он ли провел ген. Кутепова по бульвару Инвалидов до улицы Удино?

Видел ли он, как красное такси увозило генерала?

После похищения ген. Кутепова, генерал Штейфон жил в Югославии. Впоследствии при немецкой оккупации командовал так называемым "Русским охранным Корпусом", сыгравшим столь печальную роль. Он боялся, что его могут отравить²; есть сведения, что при отступлении немецких войск он погиб насильственной смертью.

Припоминая и анализируя теперь события, происходившие 48 лет тому назад, самым странным и необъяснимым кажется мне тайна, которой окружил свой приезд в Париж ген. Штейфон. Почему он должен был его скрывать? Почему, несмотря на эту

^{1.} См. статью Женевьевы Кост в Темжурнале от 7 декабря 1977 г.

^{2.} Моя двоюродная сестра, М. Г. Калустова, жившая до 1945 г. в Югославии, хорошо знала ген. Штейфона и передавала мне об его опасениях, которые он ей неоднократно высказывал.

тайну, он всё же заявился к моей сестре, а потом неожиданно прекратил скрываться и, наконец, выразил намерение посетить многолюдный вечер русской колонии и таким образом показать свое появление в Париже широким кругам русского общества.

В связи с этим стоит вопрос, какова была истинная цель его приезда в Париж? Если предположить, что это был сбор средств, своим внезапным отъездом и отказом от назначенной встречи с Рахманиновым (которая была почти равносильна обещанию пожертвования) он разрушает это предположение.

Вторая возможная цель его приезда (которая также не требовала сохранять его в тайне) могли быть дела по конспиративной антисоветской работе, и поэтому он неизбежно должен был встретиться с ген. Кутеповым, стоявшим тогда во главе всей тайной антисоветской деятельности.

В то время у моей сестры сложилось впечатление со слов ген. Штейфона, что он сам независимо от кого бы то ни было стоял во главе большой тайной антисоветской организации и ездил в Россию по своей собственной инициативе для встречи с многочисленными агентами, находившимися у него в подчинении.

Вместе с тем его секретная поездка в конце 1929 года в Россию была очень мало правдоподобна. Если бы он состоял в организации ген. Кутепова, то невероятно, чтобы ген. Кутепов мог послать в Россию генерала, бывшего начальника своего штаба и всем известного коменданта Галлиполийского лагеря Русской Армии. Известно, что из агентов ген. Кутепова очень мало кому удавалось проникнуть в Россию и ещё меньше было тех, кому удалось вернуться.

Какова же была причина его тайного приезда, приукрашенного фантастическим рассказом о его поездке в Россию, в доказательство чего моей сестре был подарен мешочек "русской земли"? Невольно напрашивается один ответ — приезд имел целью ликвидировать генерала Кутепова. Какие побуждения и причины им руководили, остаётся неясным.

Странный переход от секретного, конспиративного к открытому пребыванию в Париже можно объяснить тем, что в зависимости от обстоятельств план ликвидации мог меняться, менялась и тактика. Моя сестра, а потом и вся наша семья, при известной неудаче, могли быть призваны как свидетели, в какой-то мере оправдывающие пребывание ген. Штейфона в Париже. Даже его предположение быть на балу в вечер рокового дня могло в какой-то мере отвести от него подозрение.

Визит на квартиру ген. Кутепова утром во время его исчезновения требует особого объяснения. Самое время визита — воскресенье утром — не обычно, но объяснение напрашивается само: надо было задержать сигнал тревоги, а с другой стороны, создавалось прекрасное алиби.

Почему я так поздно публикую мои показания? При жизни моей сестры мы неоднократно собирались это сделать, но бывают предательства и злодеяния, которым трудно поверить и не хотелось верить, что они существуют.

Д-р В. М. Зернов

на рубеже двух миров

Во Франции - в первую мировую войну

В противоположность другим нашим посольствам посольство в Париже в эти знаменательные дни оказалось в полном составе. Только посол, по обязанностям службы, был в Петербурге, по случаю визита президента республики к нашему двору. Самым животрепещущим в данный момент вопросом был вопрос о том, успеют ли президент Пуанкаре и Извольский вернуться вовремя во Францию.

Кажется, на второй день по моем возвращении я сидел в своем кабинете в посольстве, когда мне доложили, что меня желает видеть граф Витте.

Я был хорошо знаком с графиней Витте и ее дочерью, бывшей замужем за моим сослуживцем по Берлину, К.В. Нарышкиным. С графом я познакомился только в 1912 году, когда я провел несколько дней в гостях в Биаррице на даче Нарышкиных, где в то время гостил и С.Ю. Витте.

Войдя ко мне, граф сказал, что прибыл во Францию из-за границы (не помню откуда именно) и что ему необходимо еще полечиться в Люшоне. Затем он начал говорить о самых обыденных вещах и я с чувством величайшего изумления убедился, что о событиях, захватывающих весь мир, он как будто и не слыхал. Рискуя нарваться на обычную графу резкость, я все же сказал ему: "Простите меня, граф, но мы как будто играем в жмурки, не

Мы печатаем отрывок из рукописи воспоминаний "На рубеже двух миров" гр. Бориса Алексеевича Татищева. Рукопись любезно прислана нам его дочерью гр. Дарией Борисовной Шереметевой. за что мы приносим ей сердечную благодарность. Б.А. до революции служил по дипломатическому корпусу и в первую мировую войну был во Франции. РЕД.

говоря ни слова о том, что происходит в мире". "Вы, вероятно, хотите сказать — о войне", — возразил Витте. "Вот именно", — ответил я. "Так позвольте вам сказать, — возразил мой собеседник, — что никакой войны быть не может".

"Простите, — сказал я, — да вы изволили читать хотя бы сегодняшние утренние газеты?" — "Какое значение могут иметь газеты в такие минуты". Я обрадовался — "Значит вы тоже считаете, что минута исключительная?" Витте переменил тон на более мягкий. "Я должен, действительно, оговориться. Я считаю войну возможной, но только при одном условии, чтобы у нас в России все, повторяю все, без всякого исключения, и притом все одновременно сошли с ума. Вы, я надеюсь, согласитесь, что эта возможность маловероятна. Не будем говорить о Сазонове, оставим в покое Сухомлинова с его психологией гусарского штабс-ротмистра, но ведь есть кто-то и кроме них. Ведь есть Горемыкин, не скажу, чтобы это был орел, но сумасшедшим он не был и не будет. Я мог бы вам еще назвать десятки таких имен, из которых никто в сумасшедшие не собирается. А сам государь император? Какое основание имеете вы считать его способным на подобное безумие, как объявление войны? В 1908 году такая опасность была очень велика и что же? Благодаря Григорию (Распутин) опасность была устранена. Вот ему — Григорию Ефимовичу я бы поставил памятник, чтобы увековечить эту его заслугу перед Россией. Позвольте сказать вам еще одну вещь. Не знаю, что произойдет в случае объявления войны во Франции и в Англии, но, если в войну ввяжется Россия, то это будет означать для нее немедленное БАНКРОТСТВО".

Как только Витте произнес эти слова, для меня стало ясно, что он просто морочит мне голову и мой интерес к беседе разом упал.

Действительно, пока Витте говорил о вопросах внутренней и внешней политики, он мог ошибаться, как вообще свойственно ошибаться всем людям. Но когда он заявил, что Россия, вступив в войну и имея на своей стороне Францию и Англию, может оказаться немедленным банкротом, было ясно, что он говорит заведомую для него самого ложь.

Я перестал вообще реагировать на заявления своего собеседника. "Итак, повторяю еще раз, — закончил Витте, — никакой

войны быть не может и не будет. Я уезжаю в Люшон и очень прошу пересылать туда мою корреспонденцию. До свиданья."

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, скажу, что дня три после объявления войны, я получил телеграмму от Витте из Биаррица, в которой он сообщает, что ввиду необходимости срочно возвратиться в Россию, он просит меня сообщить, как лучше всего это сделать. Не скрою, что мною овладело чувство злорадства, и я спрятал эту телеграмму в ворох других, накопившихся на моем столе и решил, что теперь он может подождать. Как оказывается, граф уехал из Биаррица в автомобиле его зятя Нарышкина путем на Италию и успел еще проскочить в Одессу, через Константинополь, ранее вступления Турции в войну.

Еще через день или два возвратились в Париж, чуть ли не с последним Норд-экспрессом, А.П. Извольский и военный агент граф Игнатьев. Прибыл также морским путем президент Пуанкаре и первый министр Вивиани, сопровождавший его в Россию.

Не буду описывать разыгравшихся в эти дни политических событий, которые достаточно известны. Моя задача состояла в организации работы в посольстве и в этом отношении мне масса народу пришла на помощь. Кроме штатного состава, по крайней мере десять человек, частью из нашего министерства, захваченных тут событиями, частью из офицеров, так что мне удалось организовать ночные дежурства. Объявление общей мобилизации последовало, если не ошибаюсь, в субботу в пять часов дня. В последующую за сим ночь я помню, что возвращался домой около 4 часов ночи по улице Гренелль в направлении на Инвалиды и был настолько утомлен, что задевал за сточные трубы плечом.

Наконец, в ночь с 1 на 2 августа нов. стиля, я получил из Петербурга телеграмму, очень короткую, набранную нашим самым простым шифром для малосекретных сообщений. Я ее прочел даже без помощи расшифрителя. Она гласила: "Германия объявила нам войну". Эта же телеграмма была нам затем доставлена еще четыре или пять раз: путем из Архангельска, через Америку кабелем и по беспроволочному телеграфу дважды, путем на Бобруйск и Севастополь — Бизерта. В Петер-

бурге боялись, видимо, немецких перехватов.

Начался первый месяц войны, полный для нас, парижан, самых больших треволнений. В это время военная авиация во всех странах была, собственно, в зачаточном состоянии. Помню, как в августе месяце, в годовщину Седана, мы смотрели из посольства на два немецких аэроплана, спокойно летавших даже не очень высоко над Парижем, причем в небе не было ни одного французского аппарата, и только из носившихся по улицам военных автомобилей стреляли из ружей по этим авионам, разумеется, без всякого для них урона. К концу августа стало ясно, что под Парижем должно будет разыграться генеральное сражение, и начали делаться приготовления к эвакуации из города правительственных учреждений.

Наконец, в самые последние дни августа я был приглашен зайти в министерство иностранных дел, где милейший начальник протокола Вильям Мартен, введя меня в свой кабинет, сказал: "Будем говорить мало, но хорошо. Сколько вам нужно билетов на посольство?" Я был очень смущен и сказал: "А вас не пугает цифра 70?" Он молча вынул из кармана 50 билетов І класса и из другого 30 билетов II класса. Мы с чувством пожали друг другу руки и разошлись. Чтобы понять, сколько было русских, желающих эвакуироваться, достаточно сказать, что накануне мы уже отправили из Парижа целый транспорт автомобилей, под командою бывшего офицера лейб-гусарского полка Стенбок-Фермора, бывшего одним из моих добровольных сотрудников по посольству. В этом транспорте ушло уже свыше 50 душ. Наконец, наступил день нашего отъезда в Бордо. Мы погрузились, кажется, часов в 9 вечера, причем отведенный нашему посольству вагон первого класса был абсолютно полон. Конечно, я удержал одно отделение для посла и его жены, а другое для их дочери и гувернантки. Но и все прочие отделения были уже почти полностью заняты нами же, и проходящие через наш вагон члены дипломатического корпуса не без яда замечали: "конечно, все для русских". Я в это время вышел на минутку на платформу и тут столкнулся носом к носу со стариком князем Иваном Юрьевичем Трубецким, отцом командира Императорского Конвоя. Старый князь продолжал числиться атташе при нашем посольстве, хотя, конечно, никаких обязанностей при нем не нес. Он отличался своим женолюбием и

успехами среди дам парижского полусвета. Каково было мое изумление и даже просто ужас, когда я увидел, что его сопровождает и даже не одна, а две дамы очень приятной наружности, в профессии которых, впрочем, не могло быть никакого сомнения. Он сказал мне, что ему необходимы два билета "для его массажистки"! Я ответил, что у меня, к сожалению, билетов более нет. С его стороны начались усиленные упрашивания и я, чувствуя каждую минуту, что нас может услышать кто-нибудь из окружающих нас иностранных дипломатов, запихнутых в переполненные отделения, решил, к стыду своему, спастись от возможных осложнений бегством. Билетов я не дал, но Трубецкой все-таки ввел своих двух дульциней в наш вагон, что я и мог констатировать, когда занял свое место перед самым уходом поезда. Оказывается, что еще ранее меня, это появление двух дам было замечено Маргаритой Карловной Извольской, которая немедленно велела своей дочери и ее гувернантке запереться в их отделении, задернув изнутри все занавески, а сама сделала то же самое со своим мужем в их отделении. Усмотрев, что во всяком случае создавшееся положение исключает возможность конфликта ранее следующего утра, я решил лечь спать, ибо буквально валился с ног от усталости.

В нашем крайнем отделении мы заперлись в свою очередь впятером: Унгерн, Ребиндер, Людерс и я, взяв к себе, в качестве пятого пассажира, собаку Людерса, и все заснули богатырским другом отделении помещались молодожены секретарь генерального консульства в Будапеште, князь Маврокордато и его прелестная жена венгерка, вице-консул в Вене, Протопопов и трио Трубецкого с его дамами. В последнем отделении было еще пять пассажиров. Утром меня разбудил Людерс, выпускавший в коридор свою засидевшуюся в отделении собаку; я выглянул наружу. Было еще темно, часа четыре утра. Из отделения, где сидел Трубецкой, в коридор высовывалась элегантная нога консула Протопопова, обутая в прекрасный светло-желтый башмак. Выпущенный пес Людерса подошел к этой ноге, с интересом ее обнюхал и ... Вдруг элегантная нога исчезла из коридора и вместо нее показалось там заспанное, но возмущенное лицо консула Протопопова. Собака прибежала к нам обратно и опять заснула. Я проснулся в

семь утра и, выйдя в коридор, констатировал, что в конце его стоит посол против старого князя Трубецкого, которому он говорит что-то с необычайной горячностью, размахивая руками с самым возмущенным видом. Поняв сразу, что идет объяснение по поводу "массажисток", я предпочел опять ретироваться в свое отделение.

Наконец, около полудня мы прибыли в Бордо. На наше счастье, навстречу посла прибыл его автомобиль, выехавший из Парижа с упомянутым мною автомобильным транспортом. Говорю — на наше счастье, ибо благодаря этому мы, секретари, воспользовались другим автомобилем, высланным на вокзал французскими властями навстречу послу. Дело в том, что за сутки до нашего отъезда, мы получили из Банк-де-Франс около полутора миллиона франков в золотой монете на всякие наши служебные издержки, и везли эти деньги в особом, довольно невзрачном чемодане. Мой товарищ Унгерн и я решили раньше заехать в гостиницу, где остановился Извольский, и там позавтракать, а потом сдать нашу драгоценную поклажу в местное отделение Банк-де-Франс на хранение. Должен сказать, однако, что мысль, что такая сумма лежит внизу в чемодане без того даже, чтобы шофер знал об этом, настолько заставляла нас Унгерном торопиться с нашим завтраком, что гостиницы подошел к нам и сказал с видом сочувствия: я боюсь, право, господа, что ваша поспешность может вызвать у вас несварение желудка. Мы поблагодарили за заботу о наших желудках и повезли нашу поклажу в Банк.

Наше пребывание в Бордо началось под знаком французской победы на Марне, которую я не буду описывать, так как она достаточно всем известна. Подъем духа, вызванный у нас этой победой, к сожалению, был испорчен разочарованием от поражения, нанесенного нашим войскам в Восточной Пруссии под Танненбергом, как эту победу Гинденбурга именовали немцы, или под Сольдау, как это печальное в русских анналах событие называли у нас.

Все добросовестные французы признают, что без Сольдау не могло бы быть победы на Марне. Но нас русских это соображение не могло в полной мере успокоить, т.к. нам представлялось, что при лучшей координации действий нашего

военного командования, поражение наше, или, во всяком случае, серьезный урон при Сольдау мог быть избегнут, причем это нисколько не помешало бы Марнской победе, т.к. отвлечение части германских сил с западного фронта на восточный было уже совершившимся фактом.

Правда, неудача под Сольдау не помешала дальнейшим успехам наших армий на австрийском фронте. Наше внимание в Бордо было всецело привлечено наступившей в то время новой операцией, именовавшейся "бегом к морю", которая закончилась кровопролитными боями на берегах Изера и стабилизацией фронта, причем на нашем крайнем левом фланге оказались остатки бельгийской армии, занимавшей последние два десятка квадратных километров бельгийской территории в окрестностях Диксмюнде. После этого на западе наступило сравнительное успокоение, и французы вздохнули полной грудью после всех перенесенных ими душевных потрясений.

Наше пребывание в Бордо сложилось довольно приятно. Для нашего посольства был отведен особняк виконтессы де Кюрзе, на одной из центральных улиц, близ городского парка. Дом этот, выдающийся по архитектуре, не имел, однако, даже элементарных удобств, и А.П. Извольский категорически отказался в него переехать. Тщетно я, в сопутствии начальника протокола Вильяма Мартен, пытался найти послу более подходящее помещение, все лучшие дома были уже заняты и поэтому. Извольский переехал загород, верст десять за Бордо, в прекрасный замок какого-то короля шоколада, откуда он ежедневно приезжал к нам утром в автомобиле и возвращался обратно домой к завтраку.

Мы, секретари, поместились в отеле виконтессы де Кюрзе и устроились там очень недурно. Питаться ходили сперва в лучший ресторан "о шапон фин", позже в отель де Тулуз, с отличной, но специфически южнофранцузской кухней. Вначале был такой наплыв посетителей из буквально переполненного Бордо, что приходилось долго ждать очереди, но постепенно публика рассыропилась по окрестностям города и стало легче дышать. Мы тоже ближе присмотрелись к городу и часто ходили питаться в гастрономическую лавку, схожую с магазинами Милютиных рядов в Петербурге, где хозяин кормил нас пре-

восходно и сравнительно дешево, особенно по вечерам, когда мы охотно обходились без горячей пищи.

Несколько дней спустя после нашего вселения в отель де Кюрзе старый канцелярский служитель Дюфрен, покинувший уже службу в нашем посольстве и вернувшийся в мое распоряжение с начала войны, когда у нас мобилизовали старшего канцелярского служителя Шлаттери, — подошел ко мне и сказал, что меня спрашивает "ваша дама". Я спросил, кто меня спрашивает? Дюфрен ответил: "Я же говорю вам, ваша дама." Я не мог понять, что дело идет о моей жене. Надо сказать, что весной 1914 года моя жена повезла нашего старшего сына в Петербург держать экзамены в гимназию. Две девочки и гувернантка отправились на берег моря в Англию, так что мы все были разбросаны по Европе.

Оказалось, что моя жена решила, одна из первых, поехать Швецию-Берген-Нью-Кастль. путем на омкрп Стокгольм через Або, направиться на но потопления немцами одного парохода в Балтийском море, по совету князя Г.Н. Трубецкого, выехала на Торнео-Хапаранда. Свидание наше было полно радости. Жена поселилась у меня, проводила с нами все время и через неделю выехала обратно, захватив в Англии наших дочерей. Далее она путешествовала с графиней М.И. Витте, и все благополучно достигли Петрограда.

Понемногу французы начали убеждаться в прочности создавшегося, в результате Марны, положения и безопасности Парижа. Ровно через сто дней после нашего отъезда из Парижа, мы покинули милое Бордо, сняв со здания отеля де Кюрзе флаг Императорского Российского Посла, который Ребиндер и я подняли на нем в день нашего вселения, и выехали обратно в Париж. Долго мы сожалели о прелестном городе, радушно приютившем нас в трагическую минуту, и о его климате, много более мягком, чем парижский.

Начало 1915 года было ознаменовано нашими военными успехами в Галиции, завершившимися капитуляцией Перемышля, что нам тогда казалось чуть ли не решительным поворотом в смысле скорейшего окончания войны. Увы! Человек предполагает, а Бог располагает.

Заблаговременно подготовленный и мастерски проведенный

фельдмаршалом фон-Макензеном прорыв у Горлицы, повлек за собой коренную перемену в конфигурации нашего фронта. Русским войскам пришлось очистить Галицию, покинуть Царство Польское и откатиться до Пинских болот. Ставка Барановичей была перенесена в Могилев. Только мало-помалу нам, непосвященным, стали понятны причины всего происшедшего, а именно катастрофическая нехватка снарядов и оружия. Подробности, которые нами получались, о том, как наши войска вводились в бой без оружия и патронов с приказанием брать то и другое у убитых товарищей, заставляли наши сердца сжиматься от ужаса. Но тем сильнее делалась моя вера, что армия, которая умеет сражаться при таких небывалых в истории условиях, не может быть побеждена и что время работает в нашу пользу. Что рано или поздно нашим противникам придется признать себя побежденными, казалось мне не подлежащим сомнению.

уже тогда ДО нас упорные несогласованности действий военных и гражданских властей, о Главнокомандующего засильи ставки Верховного министрами, которых даже не ставят в известность о мерах вроде поголовного и принудительного выселения жителей западных областей внутрь страны, о недовольстве и глухом брожении, питаемом такими мерами. Только впоследствии мне стало ясно, что именно эта сторона дела сыграла решающую роль в деле подготовки февральской революции 1917 года. С недостатком снарядов мы все-таки в конце концов справились, а с дезорганизацией тыла, в значительной части по вине гражданских, а, главное, военных властей, увы, не справились никогда.

Пока на нашем фронте, в свою очередь, происходила его стабилизация, союзники ограничивались военными бюллетенями, которые Сазонов в одной из своих телеграмм иронически назвал "метеорологическими". Они доказывали, как сильно союзники опасаются нарушить наступившее на их стороне сравнительное успокоение.

Противник сам позаботился о том, чтобы франко-англичане не почили на своих лаврах. Начался Верденский период военных операций.

Опять-таки не буду описывать событий, достаточно всем известных. Отмечу только, что если победа на Марне

всколыхнула весь французский народ, то удержание французами в своих руках Вердена, не взирая на гигантские жертвы, принесенные немцами для его захвата — убедили французские военные власти в том, что германская военная мощь нашла свою границу и едва ли окажется в состоянии сделать больше того, что уже исполнено.

После приостановки немцами их натиска на Верден, французское командование сохранило непоколебимой свою уверенность в конечной победе. Эту уверенность не смогли поколебать даже ни русская революция, ни последний успех противника при прорыве фронта под Амьеном в 1918 году. Союзники ответили на него назначением Верховным Главно-командующим маршала Фош, который и привел Францию в девятимесячный срок к победоносному перемирию в Компьене.

Весной 1916 года прибыли во Францию первые эшелоны так называемых русских вспомогательных войск, в составе бригады генерала Лохвицкого, за которой последовала другая бригада, направленная на Салоникский фронт. Эта мера — одна из самых неудачных, принятых нами во время войны — вскоре после революции привела к самым печальным последствиям. Вот ее история.

Уже давно во французских политических сферах возникла мысль о получении из России, где так явно не хватало вооружения и где не знали, как использовать громадный запас живой силы, часть этой живой силы, хотя бы в виде неспециализированных рабочих, что дало бы возможность французских рабочих отослать полностью на фронт. Инициатором этой мысли явился будущий президент республики — Поль Думер, который по сему поводу ездил с официальной миссией в Россию, в сопровождении известного социалистического депутата г-на Альбера Тома. Из этой инициативы не вышло французскому проекту У нас противопоставили парадоксальную мысль о том, что за недостатком оружия Россия вынуждена уравновешивать шансы войны увеличением численности своей армии. Эта мысль, как ни бессмысленно она звучит в ушах любого европейца, была в России широко распространена и ее в моем присутствии заявлял даже такой мудрый, знающий и глубоко искренний военный, как генерал

Алексеев. Но для того чтобы дать французам удовлетворение за отклонение их просьбы о посылке во Францию русских рабочих, решили послать туда с большими техническими трудностями, через Владивосток, ОДНУ БРИГАДУ, точно подобная гомеопатическая мера на фронте, где дерутся много миллионов англофранцузов, может иметь какое-либо значение, кроме символического. После революции в этих частях немедленно началось разложение и скоро оно выродилось в нечто вроде бунта, который пришлось подавлять военной силой. Я сам, к счастью, этого уже не видел.

Вскоре по прибытии наших частей во Францию был назначен смотр их президентом республики в присутствии посла А.П. Извольского и генерала Жилинского. На смотру этом я сопровождал нашего посла. Смотр был очень удачный, но вышло маленькое неприятное недоразумение. Войска проходили, держа ружья на руку. Этот прием, насколько я помню, являлся специальностью Павловского полка. Он очень эффектен, но утомителен, когда продолжается очень долго (утомителен для зрителей). Поэтому минут через пятнадцать генерал Жилинский пожелал, чтобы войска взяли ружья просто на плечо. Но остановить движения войск уже было невозможно и тщетно несколько раз делались попытки передать приказание навстречу идущим, чем чуть не вызвали общего замешательства. По окончании смотра было посещение лазаретов с легко ранеными. Тут я познакомился с героем Галлиполи генералом Гуро, лишившимся там правой руки. В его армию была включена наша бригада. Надо было видеть как он, не зная ни одного слова порусски, беседовал с ранеными, присев на их кровати. Его замечательно лучистые глаза как бы переводили непонятные для наших солдат французские слова. Очевидно было, как сильно он умел влиять на них.

Воспоминания о парижском периоде моей жизни, в связи с событиями великой войны, приводят меня к моим отношениям с одним человеком, с которым я в детстве был очень близок, потом несколько отошел, ибо и его и моя семья переехали из Петербурга в провинцию, потом опять сошелся, когда вернулся в Петербург после смерти моего отца, еще разошелся, когда уехал за границу после моей женитьбы, встретился в Париже

между 1912 и 1916 г.г., где он был военным агентом, наконец окончательно порвал сношения, когда он в 1921 году открыто перешел на сторону советской власти.

Я имею в виду моего троюродного брата, графа Алексея Алексеевича Игнатьева. В своих недавно вышедших в свет воспоминаниях, Леша Игнатьев будто бы говорит, что в Париже он встретил своего "отдаленного" родственника Б.А. Татищева. Проверить этого я не мог, ибо его книги мне достать не удалось. Но могу определенно заявить, что и его и моя мать — обе Мещерские — отнюдь не считали своей фамильной связи "отдаленною", а очень ее ценили и что у меня с троюродными братьями и сестрами Игнатьевыми установились отношения даже более близкие, чем с некоторыми двоюродными.

Моя тетя, графиня Софья Сергеевна Игнатьева, занимала совершенно исключительное положение в петербургском свете в качестве фанатической сторонницы начал православия и самодержавия. Свою семью она воспитала именно в поклонении этим двум началам, чем семья Игнатьевых отличалась от многих семей петербургского большого света, не чуждых идеям космополитизма и религиозного индифферентизма.

Графиня Софья Сергеевна явно господствовала над моей матерью, обладавшей более мягким характером, но нежно любившей свою более энергичную двоюродную сестру Соню. Должен сказать, что если что-либо в моем детстве и юности меня несколько задевало в наших отношениях с семьей Игнатьевых, то это были постоянные указания моей матери на то, что мы, братья, должны себе поставить образцами для подражания наших троюродных братьев Игнатьевых, которые-де и учатся отлично, и воспитаны превосходно, и в свете имеют заслуженный успех и наверно женятся самым завидным образом. В этом последнем случае моя бедная мать глубоко ошиблась, и весь перевес в прочности брачных союзов, заключенных Игнатьевыми и Татищевыми, оказался явно на нашей стороне.

Тетю Игнатьеву я глубоко любил и почитал до самой ее смерти в Париже в возрасте 90 лет от роду, где она с христианской покорностью к решениям Божественного Промысла несла ниспосланные ей испытания.

Точно так же глубоко чту я и память покойного моего дяди

графа Алексея Павловича, которого я знал еще командиром кавалергардского полка, потом иркутским и киевским генералгубернатором, а потом членом Государственного Совета, где он был главой крайнего правого крыла, и был убит революционером осенью 1906 года на нашем Тверском земском собрании.

С Лешей Игнатьевым я встретился вновь в 1912 году в Париже, куда он прибыл со своей женой, прелестной Еленой Владимировной, рожденной Охотниковой, с которой он развелся во время великой войны. Окончив блестяще Пажеский Корпус, где под конец он был камер-пажем молодой императрицы Федоровны, пройдя Александры a затем Игнатьев несомненно Генерального Штаба, Леша недюжинным умом. Его личные качества, в связи со светего очаровательной жены обеспечили ему vспехами парижском В светском прекрасное положение Единственное, что вредило Алеше — это его чрезмерная самоуверенность и некоторые выходки, благодаря которым за ним установилась даже в парижском "монде" шуточная кличка графа "Гаффовича". Одному из таких инцидентов я был личным свидетелем и хочу о нем упомянуть.

В Париже в то время проживал, находившийся в опале, великий князь Павел Александрович, незадолго до того вступивший, вопреки воле государя, в морганатический брак с графиней Гогенфельзен, рожденной Карнович, разведенной Пистолькорс. Великий князь и его жена жили близ Парижа в вилле в Булони и давали там большие светские приемы. В русской колонии тогда играла некоторую роль графиня Клементина Тышкевич, русская полька, очень богатая, имевшая родовой дворец в Вильне и обширные поместья в той же губернии. О графине ходили какие-то смутные слухи, обвинявшие ее в подозрительной склонности к особам женского пола. В том году этим наветам дали пищу появившиеся В какой-то виленской корреспонденции о том, будто бы графиня "секвестрировала" в своем виленском дворце свою горничную, которая была оттуда освобождена полицией, причем по этому поводу якобы ведется против графини судебное расследование.

Я отправился на первый в этом году прием у великого князя и графини Гогенфельзен. Обширная гостиная была вся букваль-

но заполнена гостями, среди которых я издали увидал Лешу Игнатьева. Через некоторое время снова открылась входная дверь и на пороге гостиной показалась видная фигура графини Тышкевич. Едва она успела войти, как раздался громкий, покрывший прочий гул голосов, возглас Леши Игнатьева: "Кого я вижу! Графиня Клементина! А я-то воображал себе, что вы находитесь в глубине Виленской тюрьмы!" Графиня прямо позеленела от ярости...

Когда грянул гром великой войны, Леша Игнатьев оказался в очень трудном положении, ибо в качестве помощника у него был только молодой уланский офицер Шагубатов, человек милый, но главою прямо "скорбный" и ни на какой маломальски ответственный труд не способный. Игнатьеву удалось привлечь временно к работе случайно находившегося тогда в Париже какого-то полковника, фамилию которого я забыл, и ему он поручил урегулирование положения всех военнообязанных, а для исполнения обязанностей собственно военного агента, обратился к бывшему лицеисту и улану его величества Д.Ф. Ознобишину, который уже в течение нескольких лет жил в Париже. Все эти меры являлись тем более срочными, что самому Алеше Игнатьеву нужно было переехать для связи в главную французскую квартиру, находившуюся в Шантильи, в 50 верстах от Парижа.

В довершение бед, в первый же день войны пришла телеграмма, извещавшая Игнатьева, что его агентский шифр скомпрометирован, что им пользоваться нельзя телеграммы в Россию он должен передавать через посольство. Это еще усугубило нашу посольскую страду. Игнатьев ежедневно награждал нас длиннейшими телеграммами по 5-6 страниц технических военных текстов, для которых наш дипломатический шифр был неподходящ. Нам приходилось набирать эти телеграммы чуть ли не по буквам, тратя на это непомерно много времени. Положение еще осложнялось и стало даже просто непонятным, когда посольству пришлось переехать в Бордо. Телеграммы Игнатьева посылались туда с нарочным Шантильи, там зашифровывались и отправлялись в Россию. Мы все безропотно делали эту странную работу, пока, наконец, месяца через два из Петрограда пришла телеграмма, чтобы мы

прекратили посылку таких телеграмм, которые поступают в нашу Ставку на три дня ранее через французского военного атташе.

К этому времени решено было послать во Францию для связи с генералом Жоффром более высокого военного сановника. На это место прибыл генерал от кавалерии Я.Р. Жилинский, бывший в начале войны командующим войсками Варшавского Военного Округа и уехавший с фронта после постигшего наши войска урона под Сольдау (Танненберг).

Вновь прибывший генерал совершенно заслонил собою особу Игнатьева, которому в Шантильи собственно не оставалось места. Но как раз в это время выявился трагический недостаток у нас снарядов и оружия и стало ясно, что их необходимо, во избежание прямой катастрофы, получить у союзников. Леша Игнатьев сразу понял всю важность новой, выпадающей на его долю задачи и всецело отдался ей.

Мне трудно, ввиду полной моей некомпетентности в этом деле, высказать какое-либо суждение о деятельности Игнатьева, но должен сказать, что он отдал этому делу все свои силы. Наверное он делал ошибки, ибо и сам был несведущ, но работал день и ночь без отдыха, довел деятельность своей скромной агентуры до масштаба настоящего министерства и, как я, зная Лешу с детства, могу в том поклясться, работал не за страх, а за совесть, с безукоризненной честностью, не только в отношении самого себя, но и всех лиц, занимавшихся этой работой под его руководством. Я глубоко убежден, что своей работой Леша Игнатьев сберег русской казне прямо миллиарды рублей и со своей стороны помог тому, что в 1917 году у нас на фронте можно было провозгласить лозунг: "снарядов не жалеть!" Увы, было уже поздно!

Если таким образом я считаю долгом высказать свое скромное суждение, что Леша Игнатьев сделал тогда во Франции большое "русское" дело, то приходится также отметить, что эта его работа не была оценена по достоинству ни во время царского режима, ни после революции. Зато мне доподлинно известно, что его работу высоко оценил маршал Жоффр, наблюдавший Лешу с самого его прибытия на должность военного агента во Францию и работавшего с ним в самое крити-

ческое время начала великой войны.

О том как в то время, как Леша Игнатьев нес свою каторжную работу, вели себя высшие военные представители России, а главное их бесчисленные разгульные и праздные штабы, об этом могли бы рассказать немало любопытного, например, служащие гостиницы Крильон на площади Согласия в Париже.

Наступила революция. Вместо генералов Жилинского и Палицына, в Париж прибыл молодой генерал Занкевич от Временного Правительства, но Леша Игнатьев продолжал быть затемненным. Произошел большевистский переворот и началось белое движение. Ни генерал Деникин, ни адмирал Колчак, ни даже генерал Врангель его своим представителем при французской армии не признали. На эту должность прибыл в Париж генерал Щербачев, который в краткий срок сумел заместить почти все места при русских военных агентурах в Европе своими многочисленными племянниками.

падения Крыма Леша Игнатьев поместил парижской газете "Эксцельсиор" интервью, в котором, порывая с "Деникиными, Колчаками и прочими Врангелями", он явно обнаруживал одобрение большевистского режима. Было ли это результатом давно затаенного чувства за несправедливые обиды в прошлом, я не решусь сказать. Я тоже тогда испытывал от этого чувство негодования и порвал сношения с Лешей. Однако сейчас, более чем через четверть века после того, и в результате победоносно великой войны, законченной, осуждения позиции, занятой Лешей Игнатьевым. благоразумным воздержаться,

Уже некоторое время до меня доходили известия из Петрограда о предстоящем моем перемещении из Парижа. Освобождались вакансии советников посольств в Риме и Токио. Моя жена очень надеялась, что мне предложат первую из них, но министр Сазонов, по-видимому, считал более полезным для довершения моего так сказать дипломатического образования, чтобы я, после двух постов в Европе и одного на Ближнем Востоке, проделал еще один пост — либо на Дальнем Востоке, либо в Америке. При таких условиях, мне лично более всего улыбалось место советника В Токио. где советник располагает

прекрасным казенным домом и где жизнь вообще была, по сравнению с Парижем, очень дешева. Дело в том, что с увеличением моей семьи я очень тяготился невозможностью жить по моим средствам в Париже и чувствовал, что я все время живу выше своих средств.

По этой же причине я прямо боялся назначения в Вашингтон с его чудовищной по нашим понятиям дороговизной. Кроме всего прочего меня в пользу Токио склоняло присутствие там на посту — моего начальника В.Н. Крупенского, моего старшего товарища по берлинскому посольству, совместная работа с которым оставила во мне самое лучшее воспоминание.

Вот почему я не только не был разочарован, но, наоборот, искренне обрадовался, когда, несколько дней спустя, пришла давно мною ожидавшаяся телеграмма, в которой министр предлагал мне место советника в Токио и добавлял, что это место еще не свободно, но, ввилу моего долгого пребывания за границей без отпуска, я могу сейчас воспользоваться им и прибыть к семье в Россию в ожидании нового назначения.

Зная, что мне не скоро придется возвратиться в Париж, я решил (в высокой степени опрометчиво, как показал опыт) взять с собою возможно большее количество вещей из моей обстановки, и в частности все наиболее ценное. Это побудило меня отказаться от обычного в то время пути: Нью-Кастль-Берген-Стокгольм-Хапаранда-Торнео-Петроград, численными пересадками, и взять путь на Брест-Архангельск-Петроград. Из Бреста я отбыл на французском вспомогательном крейсере "Шампань", вскоре после этого потопленного немцами. Погода была дивная, что вызвало скорее неудовольствие командира крейсера. Миновали благополучно Уэссанский маяк, опасное место в смысле атак подводных лодок и стали быстро уходить в открытое море, намереваясь обогнуть Ирландию с западного берега. На третий день опять наступила тревожная ночь. Мы проходили проливом между северной оконечностью Шотландии и Шотландскими островами, вступая в Северное море. Никто не раздевался и все надели спасательные пояса. Прислуга стояла при орудиях. Погода опять была самая для нас неблагоприятная. Почти белая ночь и штиль, а на море только легкая рябь, мешающая видеть перископ подводной

лодки, если бы таковая оказалась. Но все сошло благополучно, несмотря на сигналы беспроволочного телеграфа о наличии по близости подводной лодки. К утру, на наше счастье, надвинулся густой туман и под его покровом мы, в течение двух дней и двух ночей, полным ходом уходили на север. Для меня, не мало плававшего за мою заграничную службу по морям и привыкшего к тому, что появление тумана немедленно вызывает уменьшение хода и беспрерывное завывание сирены, было дико и непонятно, что в данном случае, наоборот, под покровом густого тумана, мы даем максимум хода в абсолютной тишине. Наконец, на утро третьего дня, завеса тумана, как по мановению волшебного жезла, раздернулась и нашим глазам представилось волшебное зрелище Северного Ледовитого океана. Мы на громадном от берегов Норвегии расстоянии, огибали Нордкап. Затем мы взяли курс на вход в Белое море. Ночью любовались полунощным солнцем! Наконец мы благополучно вошли в горло Белого моря, последняя возможность встречи с подлодкой, и ровно на девятый день после выхода из Бреста вошли в устье Северной Двины и отдали якорь как раз напротив Архангельского собора. Милейший командир "Шампани" дал мне катер, который перевез меня и весь мой громадный багаж на станцию железной дороги, где прислуга катера погрузила мою поклажу на вокзальные весы и пожелала мне доброго пути. В Россию я довез свой багаж благополучно. Но, видимо, он был обречен.

Когда я пошел отправить телеграмму в Петроград о моем предстоящем приезде, то заплатил серебряной мелочью, сохранившейся у меня еще с 1912 года. Надо было видеть, какой фурор появление моих скромных белых монеток вызвало среди телеграфных барышень, сбежавшихся из всех комнат посмотреть на такую невидаль. Это показалось мне каким-то первым предостережением.

До Вологды станционные буфеты блистали пустотою своих прилавков. Вагонный провожатый предложил мне принести чаю, но любезно добавил: сахару нет. От такого чая я отказался. В Вологде буфет был прекрасный по качеству, но безумный для моих старых понятий о ценах. Наконец, на следующий день утром мы прибыли на так хорошо мне известный и милый

Николаевский вокзал, где меня встретила моя жена, и мы поехали на квартиру моего тестя, т.к. дети находились в имении тетки моей жены Е.Д. Новосильцевой Бельское Устье в Псковской губернии.

Здравствуй Родина!

Б.А. Татищев

ПИСЬМА И. БУНИНА К Б. ЗАЙЦЕВУ

ПУБЛИКАЦИЯ А. ЗВЕЕРСА

Вечер 26 октября 44 г.

Милый друг, не запомню такой, собачьей, такой ранней, холодной, мрачной осени! Почти весь сентябрь был скверен, а октябрь — чуть не сплошные ледяные ливни и туманы. Сижу сейчас "закутанный как лук", как говорят французы, а руки всетаки мерзнут, нос мерзнет... В доме стало еще более пусто — 23го уехал в Париж Бахрах — навсегда... Нередко мы только вдвоем в доме — я и Вера: Зуров стал все чаще пропадать из дому: он теперь один из важных членов и организаторов в местном (ниццском и каннском) "Союзе друзей Советского Отечества" — "Union des Amis de la Patrie Soviétique", завтра опять едет в Cannes — наступают дни празднования октябрьской революции — 7 ноября. В Ницце образовался "Union des Patriotes Russes" под председательством Ивана Яковлевича Германа — он прежде жил в Meudon, имел контору по найму вилл и квартир — ты, может быть, о нем слышал. Позавчера я получил от него приглашение этого союза принять участие "в торжественном праздновании 27-летнего юбилея октябрьской революции", выступить с речью среди прочих ораторов. Я ответил, что ни приехать, ни выступить не могу, будучи совершенно чужд политической деятельности. Обойдутся и без меня: ораторов будет и без того много, будет петь русский хор советский гимн и хоровые песни "из Советской России" — и

См. кн. "Н.Ж." 132, 134, 136, 137. В этой книге мы печатаем последнюю часть писем. РЕЛ.

т.д. В Cannes тоже будет празднование этого юбилея.

Вчера слышал радио-Москва: праздновали пятидесятилетие литературной деятельности Н.Д. Телешова, награжденного по сему случаю орденом Трудового Красного Знамени.

7 августа я написал тому, кто занимает нашу парижскую квартиру, чтобы он освободил ее к 1 ноября. Ответил, что съедет только 1 апреля, хотя снял ее с обязательством освободить по первому моему требованию. Надо поднимать скандал.

Целую вас обоих, милые.

Ваш Ив. Б.

P.S. Что делаешь? Пишешь ли? Я уже давно нет — болезненно слаб телом, очень грустен душою...

4.XI. 44

Дорогой Борисоглеб, очень рад твоему наконец длинному письму. Скоро ли Бог даст поговорить, не на бумаге, — а есть о чем поговорить, о чем не напишешь, — я, например, не так уж чтобы очень весел! — скоро ли будет, не знаю: — нынче получил официальное извещение от своего квартиранта, что квартирка наша освобождается им к 1 января, но как ехать, как ехать в Париж, если он будет замерзать, как "Фрам" во льдах! А твои вести на счет этого весьма не утешительны. Вы переезжаете? Но пишу пока по старому, — надеюсь, получишь.

Поздравляю с окончанием "Труда многолетнего". 2 Дай Бог успеха! Но где будешь печатать? И вообще — где же мы теперь будем "появляться"? Ведь эмиграции больше нет возвращение из Америки и Марка и сотни прочих — не верю: может быть, они и мечтали, но теперь... Надеюсь, ты меня поймешь. — А появишься ли на французском? Думаю, что твой издатель уже не издает больше ничего. Ужасно буду рад, если ты и впрямь займешься моим родственником.3 Сколько у него чудесного! Недавно я кое-что записывал в своих заметках, вспоминал некоторые его стихи и есть одна строка в этих записях точь-в-точь, как ты написал: "Сколько прекрасного у Жуковского! И всю жизнь чувствовал я некоторую обиду, что из тысячи образованных людей разве один знает, что никакой он не Жуковский, а Бунин!" И дальше:

"Зачем душа в тот край стремится Где были дни, каких уж нет?"⁴

"Вечное человеческое страдание! И мое постоянное теперешнее. Недаром есть даже молитва об избавлении от воспоминаний!"

Рад, что Вера совсем поправилась, рад за Наташу, за Андрея, целую их всех. Огорчен, очень огорчен болезнью "старика" Муратова. Удивлен "лейтенантом Gabriel Mouratov"-ым. Надеюсь, он все-таки говорит по-русски?

Целую тебя сердечно. Взошла ледяная луна, идем с Верой на прогулку, брошу в ящик это письмецо. Гуляем теперь веселей: бывало, еще из сада слышно, как внизу, по нашей Route, мерно громыхают немецкие сапожищи — с 6 вечера до 6 утра шатались под нами с ружьями и гранатами на поясе два патрульных, два здоровенных дьявола.

Твой Ив.

10. XI. 44

Милая Верочка, была в твоем письме (недавнем) фраза, которая мне и теперь непонятна, но иногда просто в ужас меня приводит. Ты писала: "Скажи, пожалуйста, что Рощину (.....? неразборчиво) удалось собрать для Яна? Он тут ходил с подписным листом!!!" Слово "Яна" тоже не очень разборчиво: "Яни?" "Ляли"? Но больше всего похоже на "Яна". Если так, что же все это значит? И не пустой ли это слух? Если правда, то ведь я должен Рощину голову проломить! Как же он смел решиться на такую штуку! И ведь ужаснее всего, что даже, может быть, и ты и Борис думаете, что я плакался Рощину на свою нужду и

^{1.} Экспедиционный корабль полярного исследователя Ф. Нансена.

^{2.} См.: письмо от 3. XII. 43.

^{3. &}quot;Предками автора "Деревни" являются поэтесса А.П. Бунина и В.А. Жуковский — сын тульского помещика Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи". (А. Бабореко, *И.А. Бунин. Материалы для биографии* [Москва, 1967], стр. 6.)

^{4.} Из "Песни" ("Минувших дней очарованье,/Зачем опять воскресло ты", 1818), В.А. Жуковский, Собрание сочинений в четырех томах (М.-Л. 1959), 1, стр. 310.

просил его собирать на меня! Напиши мне, дорогая, толково обо всем об этом. Целую Вас. Ив.

То, что, по-твоему, "цвета каки", действительно просто ужасно.

15. XI. 44

Mon gros coq cheri, — Господи Боже мой, до чего это гнусно! — сейчас, прочтя твое письмо от 8-го, получил второй удар обухом по голове — первый раз, прочтя письмо Верочки, где она упомянула об этих сборах капитана на меня, но как-то так вскользь, что я сперва подумал, что она шутит, и только на днях вдруг испугался и написал ей, чтобы она сказала мне чтонибудь толком об этих сборах. Теперь для меня дело уже совсем ясно: очевидно, и впрямь собирал, раз ты говоришь об этом так твердо. Что же мне теперь делать? Прошу вас всех, мне близких, везде где можно говорить, что я никогда в жизни не просил капитана собирать мне милостинку, что я возмущен его дерзостью до последней степени, а ему самому напишу еще раз нечто весьма неприятное — говорю "еще раз" потому, что на днях отчитал его как следует за его газетку, 1 где все ее сотрудники так скоропалительно перешли с "ять" на "еть", обдали говном эмиграцию,² в которой питались 25 лет, стали говорить о священнослужителях полной похабностью ("оголтелые С митроносцы") и т.д.3

Вера спешит в город, поэтому кончаю, напишу еще нынче или завтра.

Целую Вас, милые.

Ваш Ив. Б.

^{1.} т.е. Русский патриот.

^{2.} Н. Рощин, "Конец эмиграции", Русский патриот, XIV (1944), 2.

^{3. &}quot;Поведение оголтелых митроносцев было поистине непристойным. Погромно-монархическая агитация с амвона, церковно-политическая антисоветская литература, непрестанные проклятия советской власти (а с ней, логически, и тех, кто ее принял, т.е. всему русскому народу) — вот чем отмечена многолетняя деятельность этих 'пастырей'." Р. Днепров, "Церковь и война", Русский патриот. XIV (1944), 3.

15. XI. 44

Милые мои, нынче днем, получил твое письмо, Борис, сгоряча написал Вам о сборах капитана на меня, — о которых я и понятия не имел до сей поры, — написал, чтобы Вы сказали где только возможно, что я возмущен до глубины души самочинным поступком капитана. Сейчас, вечером, спешу написать Вам совсем другое: надо "замять эту материю", как говорили когдато, совершенно замять, — я не хочу позорить капитана, решившегося на эти сборы, очевидно, от своего вполне отчаянного нищенского положения. Бог ему прости — и точка, ничего никому не говорите об этой истории.

Да, милые, Николай Митрич,² потом приглашение меня в Нишу, о котором я Вам писал... Сюжет для небольшого рассказа, как сказано у Чехова! Воображаю, что пережил Митрич — по крайней мере в первое десятилетие тех, кои теперь увенчали его! — ну, да обо всем этом как-нибудь потом, сейчас не время...

Опять порадовался, что ты взялся, Борис, за Жуковского. Напиши, пожалуйста!!! Только что ж ты говоришь только "замечательный человек"? А поэт?

Уже утомившийся день Склонился в багряные воды, Темнеют лазурные своды, Прохладная стелется тень — И ночь молчаливая мирно Прошла по дороге эфирной, И Геспер летит перед ней С прекрасной звездою своей...³

"Я ненавижу человечество..." Да как же все-таки ненавидеть его, если оно дает и это? И еще столько всего прочего — вспомни-ка! Ах, до чего и прекрасен человек!

Целую Вас, дорогие мои.

Ваш Ив. Б.

^{1.} Бунин намекает на слухи, как будто капитан, т.е. писатель Н. Рошин, начал собирать деньги для Бунина, хотя последний ничего об этом не знал и никогда ни одного сантима не получал.

^{2.} Писатель Н.Д. Телешов.

^{3.} Начало стихотворения "Ночь" (1823). См.: Жуковский, *Ор. сіі.*, стр. 366.

^{4.} По стихотворению К.Д. Бальмонта "Голос дьявола": Я ненавижу всех святых — / Они заботятся мучительно…? См.: К.Д. Бальмонт, *Стихотворения* (Ленинград, 1969), стр. 255.

23. XI. 44

Получил, милые мои, Ваше письмо от 17-го и 18-го, спешу ответить насчет вечера. Прочти ты, Борис, — о солдате... А серьезно говоря, про осень так про осень, хотя рассказ далеко не эстрадный. Только кто же все-таки будет читать? Думаю, что лучше всего — ты: прочесть ведь надо просто, благородно (хотя и твердо). И потом, мне не хочется, чтобы он был в чужих руках, а не в твоих, дружеских. Если же почему-нибудь ты все-таки не захочешь, поступи как знаешь, — лишь бы не было прочитано по-актерски.

Очень рад, милые, что угодил Вам "Осенью" (хотя, думаю, лучше всего рассказ дурочки).

Ваши вести о сборах на меня опять привели меня в бешенство. Но, сдерживая себя, опять вижу, что все-таки, как уже писал Вам, лучше всего "замять эту материю". Бешенство это было тем сильнее, что вчера опять попался мне под руки его листок и я перечитал его статейку об "эмигрантщине", как он выражается, внимательнее, чем в первый раз читал. Но, повторяю, поднимать скандал из-за этих сборов все-таки не надо — черт с ним совсем!

Когда Бог даст нам свидеться, расскажу о пленных — их у нас бывало в гостях не мало (еще при немцах). Некоторые в некоторых отношениях были настолько очаровательны, что мы каждый раз целовались с ними как с родными да они и сами говорили нам с Верой: "Папаша, мамаша, никогда вас не забудем, вы нам родные!" А очаровательней всех был один татарин — такое благородство во всем, такое высокое почтение к возрасту, к чести, к порядку, ко всему Божескому, — там Коран истинно вошел в плоть и кровь. А некоторые другие, при всем своем милом, все-таки поражали: подумайте — о Христе, например, настолько смутное представление, что того и гляди (и без всякого интереса) спросит: а кто собственно был этот Христос? Кое-чего мы с Верой старались не касаться.

Целую Вас и дорогого отца Киприана и Наташу.

Ваш Ив.

Они немало плясали, пели — "Москва, любимая, непобедимая", о том, как "японец ползеть 2 у границы родной..." и т.д. Большинство при бегстве немцев разбежалось.

Сейчас, дорогой мой, развернул А.К. Толстого — и прочел: Стоял на слуху я, на страже...

Очень должны мы, пишущие, быть осторожны в словосочетаниях!

Весь день, по сему случаю, лезет мне в голову русская песенка:

Шуку я, щуку я, девица, ловила, Уху я, уху я, девица, варила!

Vale.

Твой Ив.

Дни стоят совершенно райские, хотя и очень свежие. А чувствую себя плохо, очень слабо. И все болит где-то в печени. Боюсь — уж не серьезное ли что-нибудь?

2. Подчеркнуто Буниным.

2. XII. 44

Р.S. До чего несчастна русская эмиграция! Чего только не пережила! И вот опять — чуть не все, видимо, в ужасе — спешат страховаться — валом валят записываться в "патриоты", в "Союз друзей Советского Отечества"... (довольно странное, кстати сказать, — название — "Советское отечество"!)

Посылаю тебе на память "Поздний час", дорогой Борис, мой теперешний "единственный читатель", — помнишь Пушкина, так жестоко оскорбившего Анну Бунину? —

цензурный председатель

Хвостова, Буниной единственный читатель... 1

Получил твое письмо о "Мистрале", — паки и паки благодарю и рад, что и "Мистраль" понравился. Отвечу подробнее на днях. Нынче уж слишком слаб. (Обед: по 4 холодных картошки).

Все думаю, отчего рак из серо-зеленого становится красным? От кипятку, верно.

Ночь ледяная, месяц еще не взошел, — "примеркать стал",

^{1. &}quot;Ныне рассеялся и последний туман эмигрантшины. Все кончено. Политика ожиданий и тактики 'страусова крыла' — в прошлом. Больше не будет ни эмигрантских комитетов... ни иностранных подачек..." Н. Рошин, "Конец..."

как говорили когда-то, — в мертвой тишине, в лесу над нами, немолчное любовное завывание — у-у-у! — кричат филины.

Крепко выпил бы, да нечего и печень побаливает.

Твой Ив.

1. Из "Послания цензору" (1822):

Во-первых, искренно я признаюсь тебе,

Не редко о твоей жалею я судьбе:

Людской бессмыслицы присяжный толкователь.

Хвостова, Буниной единственный читатель...

Пушкин, Полное собрание сочинений (АН, 1947), 11, стр. 267.

2. Это, должно быть, рассказ 1944-го г.

3. XII. 44

Всех вас трижды целую — тебя, Веру, Наташу, Андрея, отца Киприана.

Вечер 22. XII. 44

Милые мои, я все еще жестоко болен кашлем, насморком — и все какая-то больная точка в печени — очень меня это беспокоит — боюсь, что-то там неладно.

Получил открытку от Марка Богатого¹ (от 10 октября) и телеграмму от него и от Цетлина: пишут, что 30 писателей, во главе которых, первыми, стоим мы с тобой, должны получить продовольственные посылки. Получил ли ты, Борис, какую-нибудь весть от него?

Капитан — ех-капитан — прислал мне длинное письмо — говорит, что он "прозрел" еще 12 лет тому назад, когда, заменяя Тимашева, "чуть не сошел с ума от смрада политической кухни Семенова." Я ему ответил тоже довольно длинно и очень оскорбительно, а на счет "кухни" так: "Зачем же Вы после того сидели все-таки еще целых 12 лет в этой кухне?" Вот встал бы Антон Палыч Чехов из гроба — обложил бы он тебя по ебени матери! — как сказал один московский букинист одному жулику, предлагавшему ему 3 целковых за полное собрание сочинений Чехова.

"Ну, пока!" Целую, обнимаю.

- 1. Марк Александрович Алданов.
- 2. Семенов редактор *Возрождения*, (1927-1940).

30. XII. 44

Милый друг, пиша вам вчера, забыл попросить тебя сообщить мне адреса — Полонских и д-ра Серова: сообщи, пожалуйста.

Простите еще раз, что опять писал вам о 3.1 Мне и самому гадко и тем более, что ведь в каком жалком виде должен казаться я. Но вчера было особенно трудно удержаться — ведь была угроза самой низкой подлостью — доносом. Да я еще одну десятую только написал из того, что он орал. Орал, например, еще и то, что он теперь, будто бы имеет какие-то "исключительные полномочия", в силу которых может оккупировать все что угодно, а не только комнату, которую он занимает на "Jeanette", — так что попробуй-ка, тронь его!

Может быть, это и глупо, но думаю, что Серов может и заочно посоветовать что-нибудь насчет увеличения печени и болей в них. А здешним докторам я не верю. Есть один очень знаменитый, но он не практикует и я не могу лезть к нему, хотя и знаком с ним; да и живет он за Грассом, далеко.

Твой Ив.

1. Зуров.

4. I. 45

Милые мои, получил Ваше письмо от 28-го. Писал Вам за последнее время 2 раза — на St. Lambert — думал, что Вы уже там. Господь храни Н. — очень я робок в этих случаях. Да, мы *туда* не годимся! И Италию не увидим — я по крайней мере. Здоровье все плохо. Верю, придется ехать в Ниццу — на радиографию. Да, 21 год! Треть человеческой жизни! Целую Вас, скажите отцу Киприану — пусть простит, что не пишу ему, — слаб и глуп.

Ваш Ив.

^{1.} Н.Б. Соллогуб была беременна.

21. I. 45

Милый друг, очень больно рукам от холода, но сейчас поплетусь в город, — именно поплетусь, — таков я теперь, — [...] Насчет Шмулевича¹ скажу тоже кратко — я эту наглую замоскворецкую стерву просто терпить не могу за его поломанную морду прежде всего, за хамскую спесь, за самомнение, за то, что он оказался совершенным скотом, за все, что я для него сделал, вытащив его из Берлина, приютив на Villa Montfleuri, где он однажды орал на меня, будто я "подложил ему свинью" в Академии, а когда Вера вмешалась в разговор, заорал на нее: "Вы-то не лезьте в разговор, я не с вами разговариваю!" (Кстати — "подложить свинью": дорого бы я дал теперь, если бы кто-нибудь подложил мне свинью!) Дальше писать буквально не могу — так больно рукам. Спасибо Вам обоим, милые, за добрые чувства ко мне, коими опять полно твое письмо, дорогой старушек.

Твой действительно вполне безземельный

Иоанн

Очень прошу — немедля скажи Марье Александровне,² что все-таки с нетерпением жду последствий ее с Пиотровским³ демаршей насчет моей квартирки⁴, — ее письма, — скажи и передай мой низкий поклон.

Да, ты совершенно прав: "очень противно" — и особенно, как ты говоришь, "по теперешним временам"!

Удивляюсь и даже очень обижаюсь: почему ты никогда, буквально никогда не напишешь мне, что у тебя есть, кроме "Глеба", "в портфеле" — и т.д.! Что твои "Дни"? Продолжал ли, продолжаешь ли ты их? Ведь это, верно, целая книга? А маленьких рассказов не писал? Почему ничего не пошлешь Марку в Америку для "Нового Журнала"? (Мг. Aldanoff, 109 West 84 Str. New York 24).

Милый Борис, я, кажется, понемножку погибаю в точном смысле этого слова. Какая-то болевая точка не то в печени, не то еще где-то около, о которой я тебе писал, все не проходит, чтото неприятное во вкусе и в животе, в кишках теперь уже никогда не оставляет меня, питание — голые картошки и иногда макароны — противно, но хуже всего то, что даже представление всяческой прежней, давней пищи тоже противно; прибавь к

этому двухмесячный бронхит, тусклые глаза, очень похудевшее и очень постаревшее за последнее время лицо, боль в ледяных руках, — не запомню такой ледяной зимы... Давно следовало бы съездить в Ниццу, сделать радиографию, но для этого надо пробыть там двое суток в ледяной гостинице, питаясь уж совсем черт знает чем, — если не питаться по черной бирже за 700-800 фр. в сутки, — а главное, заплатить за радиографию — говорят — тысячи две! — о чем я и мечтать не смею. Пишу же я тебе все это вот зачем: пришла в голову мысль — нельзя ли устроить так, чтобы французы опять, как некогда, стали давать нам, нескольким, какое-нибудь пособие? Мысль эта, скорее всего очень глупа, но все-таки делюсь ею с тобой. Поговори с кем-нибудь об этом и напиши мне 2 словечка.

Целую тебя и Веру

Твой Ив.

Р.S. Хозяйка "Jeanette" прислала письмо (из Англии): весной возвращается в Грасс — даже, может быть, в марте! Значит, надо нам уже решительно завязывать чемоданы — в марте во всяком случае. А куда деваться? Ради Бога, скажи Марье Александровне, что я с самым горячим нетерпением жду от нее вести о демаршах Пиотровского насчет этих мерзавцев Графов. Истинные мерзавцы! Вдруг оказались "sinistrés". Зачем же снимали квартиру помесячно и с обязательством очистить ее по первому моему требованию? Почему скрывали, что они "sinistrés"? Зачем обманули меня, написав 26-го октября, что оставляют квартиру "не позже 1-го января"? Еще: сожгли печкой ковер в столовой — теперь перенесли печку в салон... Прочти все это М.А. Целую ее.

9. 2. 45

Милый Борис, сейчас получил твое письмо от 4-го — и спешу тебе сказать, что и я ужасно расстроился — тем, что, очевидно, не в меру, взволновал и тебя и Наталью Ивановну. От

^{1.} Иван Сергеевич Шмелев.

^{2.} Марья Александровна Каллаш.

^{3.} В.Л. Коровин-Пиотровский.

^{4.} Это — квартира на rue Jacques Offenbach.

нее получил письмо еще позавчера и тотчас послал ей экстренную мольбу не беспокоить себя мною, не надрывать хлопотами обо мне ее и без того надорванное (и поистине золотое) сердце. Молю и тебя об этом — не беспокойся так обо мне. Уж очень сгоряча написал тебе о своей болезни — "Тетя Настя, я усралса!" — все лезли в голову мысли об Иване Ильиче (помнишь, у него началось с пустяков — дурной вкус во рту и где-то что-то ноет), а может быть, Бог даст, ничего серьезного у меня и не окажется — ну, что-то в каком-то "желчном протоке" и, может быть, камешки в печени... Конечно, не радость (а вдруг операция, а я операций, как ада боюсь!), но, повторяю, может быть, и обойдется как-нибудь дело... Словом, насчет этого — "поживем — увидим", если Бог продлит поживание... Что до денег, то тоже уж очень сгоряча написал: конечно, поездка в Ниццу на радиографию (с Веры еще три года тому назад взяли в Ницце за это что-то больше 500 фр.), да врачи, все это не шутка, но пока это дело не нынешнего дня — может быть, и без этого обойдусь (тем более, что сейчас поехать в Ниццу совершенно невозможно — такие анкеты насчет пропусков туда, что с ума можно сойти) ... А вообще с голоду мы еще не умираем — т.е. умираем, конечно, но потому, что питаться у нас ровно нечем, если не говорить о черной бирже, которая все равно нам недоступна: да, питаться одними бобами да кислыми картошками не мне одному яд, но ведь все равно на эту биржу никаких денег не хватит: оливковое масло — 1500 фр. литр, яйцо — 30 фр., 40 и т.д. Кроме того, в декабре я получил из Америки около 4000 фр., потом от Роговского 3000 — совершенно нежданно-негаданно: был как-то у него в Ницце Зуров, вернулся и нагло говорит: "Роговский дал мне 500 фр. — и пришел в ужас, что я живу не бесплатно у вас..." — "А вы ему сказали, что живете у нас на всем готовом за 10 фр. в день?" — спросил я и вышел, и написал Роговскому, между прочим, — т.е. пиша ему главным образом о моем деле с Градами и спрашивая его совета насчет этого, — написал ему, что напрасно он удивляется, что я не содержу Зурова — я слишком беден для этого. Вот, очевидно, вследствие этой фразы он и прислал мне три тысячи. Правда, и американские и его деньги таяли и тают, как снег в апреле, — то налог плати, то за воду, то за электричество, то туда, то сюда, — но кошелек еще не

совсем пустой. Это только думая о его полной пустоте и об экстренности, которая может случиться в моей болезни, я брякнул тебе мысль, — конечно, дурацкую, — о французах...

Рад за Жуковского, жалею, что ты оставил "Дни", — повторяю, что думаю, что ты бы их отлично продолжал... В Ницие я не буду читать, — мало ли что в газетах! Я прежде всего "слишком слаб для чтения". В "Русский патриот" очень манили — я не пошел, "будучи совершенно чужд политики..."

Целую Вас, дорогие мои, от всей души.

Ваш Ив.

Вера беспокоится — что Ляля? — давно нет писем от нее: видите ли вы ее и что она? А я ее Олечке писал так (в ответ на ее просьбу написать ей стихи):

Милая Олечка, я нездоров И потому не пишу я стихов. Кроме того ослабел я сейчас: Очень уж голодно стало у нас! Мух, муравьев я теперь уж не ем: Все эти звери исчезли совсем. Сыт я бываю лишь ночью, во сне — Если приснится, что входит ко мне Жареный гусь — и кричит на весь дом: "Режь меня, ешь, запивая вином!"

Гуси мне не снятся, эту я вру, я не настолько нагл, чтобы видеть гусей жареных, но жареные картошки и яйца в смятку, ей Богу, снятся. А уж кто голоден, так это Вера! Ведь весь день работает.

26, 2, 45

Очень благодарю тебя, дорогой мой, и за письмо, как всегда ласковое, и за присылку "вступления" — Вера его переписала для тебя на машинке, — может, тебе пригодится для твоего "архива". Прочел это "вступление" с некоторым волнением — "это ты хорошо сказал", как говорили герои Горького. Правда

^{1.} Е.Ф. Роговский, член Земгора.

— чудесно, очень верно (насчет того, как "отображается") и потом — такой благородный, истинно артистический тон... (прости — плохо выражаюсь, нынче у меня совсем плохой день).

А вчера в 6 часов вечера Алешу* сожгли — осталась только кучка пепла — больше *ничего* не осталось от него, т.е. от его живого существа, ни в Москве, ни во всем мире. И понять, постигнуть это — нет совершенно никаких сил.

Целую тебя и Веру особенно горячо. Мне очень грустно и даже страшно немножко (не думай, что за себя).

Твой Ив.

Р. S. Была телеграмма от Михайлова дня 3-4 тому назад: квартира наша освобождается не позднее середины марта. Нынче письмо Пиотровского о том же: освобождается даже в самые первые дни марта. Значит, может быть, Бог даст, будем в апреле в Париже. Предчувствую странные чувства!

Будь водка, хряпнул бы сейчас как следует — не взирая ни на что.

P.P.S. В кремлевскую стену вмуровать его все-таки, кажется, не удостоили.

27. 3. 45. Вечер, 10 часов.

Милые, дорогие, как поживаете? — давно нет вестей от Вас! Мы раньше конца апреля не выберемся, но все отправляем вещи в Париж, — уже совсем последние.

Иду прогуляться и брошу в ящик эту записочку, хотя на дворе туман, дождь, холод. Весна плохая! А сейчас говорила Москва (сладко-наставительный женский голос): "В воздухе уже чувствуется веяние весны великой советской родины... зацвели на юге первые советские фиалки, тронулись первые льды на безграничных реках Великого Советского Союза..." Это тебе не Приморские Альпы!

Целую, целуем.

Ваш Ив.

Вечер 5-го апреля 1945 г. Grasse, A.M.

Милые, родные, завтра — в кои-то веки! — еду в Cannes

^{*} Алексей Толстой. Примечание Б.К.З.

приглашен на завтрак — тоже в кои-то веки буду завтракать как следует и буду думать, как врут пословицы, кои всегда считают-ся мудростью, — например: "On ne se repent jamais d'avoir trop peu manger!" — приглашен к друзьям Абрама (и моим отчасти), к французу-русскому человеку Le Grand-Beucler, французскому романисту (мать которого московская купчиха). А 10 апреля еду в Ниццу — читать: Роговский, Адамович и Кильберин устраивают мне вечер чтения (не по моей инициативе) — думаю, некоторый грош заработаю (скорее всего — действительно грош, но и то дай Бог — "отлично нищ" я!). А после всего этого уже окончательные сборы в дорогу — повторяю, надеемся выбраться (конечно, "с большими слезами") числа 25-го.

Борис, дорогой, прости — ведь я не ответил тебе не только на последнее письмо — от 25 марта — но и на предпоследнее от 5-го. Прости великодушно по моим немощам и старости — последнее время совсем старым себя чувствую и бессилен ужасно. А после письма от 25-го хотел написать немедля — очень обеспокоился о твоем здоровьи! Храни тебя Господь! Утешаюсь тем, что вот уже весна, при ней скорей поправишься. И будь нагл — всюду вымогай деньги на хорошее питание. А посылки из Америки и ко мне пришли в самом бесстыдном виде — разорваны, разворованы на 3/4. "И хочется сказать великому народу..." И еще: "Вот встал бы Антон Павл. Чехов из гроба — обложил бы он тебя по е.м.!" Кстати о Чехове: в одном его рассказе "пьяный долго дышал в ухо приятеля, потом сказал: жену свою ненавижу!" Так и я скажу тебе: Тито ненавижу! Сейчас о нем кричало радио. (Только смотри, никому не говори об этом).

Передайте мое горячее поздравление милому отцу Киприану — надеюсь, что защита его будет блестящая. Мысленно пью с вами со всеми за обедом у В.Б.7

^{1.} Так написано в оригинале.

^{2.} А.О. Гукасов, издатель Возрождения.

^{3.} André Beucler родился в С.-Петербурге в 1898 г. Его мать — Марья Суворкова; его жена — Nathalie Le Grand.

^{4.} Г.В. Адамович, поэт и критик.

^{5.} Так написано в оригинале.

^{6.} Защита лиссертации о Григории Палама, византийском церковном и политическом деятеле 14 в., в Богословском Институте Сергиевского Подворья.

^{7.} В.Б. Ельяшевич.

Целую вас — и Наташеньку особенно.

Ваш Ив.

Нынче получил № "Честного слона". О, какая сволочь, доносчики! Писсуарная литература!8

Когда-то я писал вам, что Михеич — стерва, quoique и т.д. Теперь вижу, что вы меня не поняли: Михеичем я называл $И\!I\!I\!M\!e$ лева. Я писал: "quoique $p\`ere$ malheureux..."

28. 4. 45

Мой дорогой, сейчас твое письмо. Утешен немного деньгами: знаешь ли, сколько я должен? Около 90 тысяч франков! (за одну виллу — 61 тысяча!) — Огорчен твоей с Верой слабостью очень. Собой тоже огорчаюсь: сейчас сошел в сад, к воротам, за письмами — и едва поднялся назад — так задохнулся! Билетов в Париж все еще не имеем — обещают только на 3-е мая — значит, если Бог даст, будем 4-го. Целую Вас, дорогие мои. Ив.

Письма Марка не пересылай.

8. IX. 45

Милые, дорогие, страшно беспокоимся за Вас. Напишите хоть 2 слова немедля. Да хранит Вас Бог — и бросьте Вы, ради Бога, свой ужасный дом! Получил уже давно твое письмо, Борис. Спасибо, дорогой, очень меня тронул своим вниманием! Болит правая рука. Как смогу напишу как следует.

Четверг.1

Милый друг, был у меня Бахрах с твоей книгой "Современных записок". Прости, пожалуйста, — задержал ее у себя, очень хотелось почитать (на днях привезу ее тебе)². Прочитал — сколько огорчений! Сколько истинно ужасных стихов! До чего отвратительна всячески Цветаева!³ Какой мошенник и

^{8.} Бунин здесь, по всей вероятности, ссылается на 5-й номер (31 mars 1945) газеты Честный слон — Еженедельная литературно-сатирическая газета под редакцией Д. Кобякова, особенно на статейку "Дикая утка": "По непроверенным слухам — в первой половине апреля — в Париже начнет выходить новая еженедельная газста 'Русские новости' под редакцией покойного П. Зубова".

словоблуд (часто просто косноязычный) Сирин ("Фиала")! Чего стоит эта одна пошлость — "Фиала"! А ты отлично написал, но перехвалил и как человека и как поэта Бальмонта. Ведь его вечная изломанность, "сладкозвучность" и т.д. тоже ужасная пошлость. Целую вас.

Твой Ив. .

- 1. Почтовый штемпель: 10. Х. 46.
- 2. Современные записки, LXI, 1936.
- 3. Напечатали ее "Родина", "Дом" и "Отцам".
- 4. Т.е. В. Сирин, "Весна в Фиальте".
- 5. Б. Зайцев, "О Бальмонте (К пятидесятилетию литературной деятельности)".

30 IV. 47

Дорогие Зайцы, не писал Вам по слабости, которая, слава Богу, немножко уменьшается. Как Вы? Приедете ли сюда и, если да, когда? Дом хороший, парк удивительный — огромный, запушенный, со множеством древних живописнейших деревьев. Плата с человека — 200 в день — "ту компри"...

Прочел 2 номера "Русской Мысли", радуясь старой орфографии, дивясь, что опять появился Горкин, — и вялости статей: не решились дать в морду даже прохвосту Уэллесу! [...] Интересно о Тургеневе и Репине Зеелера, чудесен твой отрывок, Борис. Узнаю эту Элли! 4

Напишите мне — я надеюсь пробыть здесь до конца мая: Villa Le Fournel, Chemin du Fournel, Juan-les-Pins, A.M. Целую! Ваш Ив. Б.

^{1.} Именем героя, Горкина, книги *Лето господне* Бунин ссылается на рассказ Ив. Шмелева "В Кремле на Святой", опубликованный в 1-м и 2-м номерах *Русской Мысли* (19-го и 26-го апреля 1947-го г.).

^{2. &}quot;Путешествие Уэллеса" (в І-м н.) и "Уэллес о России" (во 2-м н. *Русской* Мысли).

^{3.} В. Зеелер, "Репин и Тургенев в Париже", во 2-м н.

^{4.} Б. Зайцев, "Въезд Элли (отрывок из романа "Путешествие Глеба")", во 2-м и 3-м номерах.

6. VIII. 47

Дорогой Борисоглеб, поздравляю тебя, Веру, Наташу, Андрея и мордастого, толстопузого детеныша их, а твоего внука, целую и тебя и всех прочих, даже и этого внука, хотя детей, кажется, терпеть не могу. Рад бы быть у тебя, но не могу — слишком слаб для путешествия на Растеряеву улицу.

Пишу тебе все это на бумаге исторической — купленной в 1915 г. на Кузнецком Мосту, в магазине Шанск, в Москве.

Будь здоров и счастлив и почаще катай катышки.

Твой Ив.

недавно с изумлением узнавший, что он, вместе с Чеховым и Куприным, создал не мало в своих рассказах женщин многосемейных, с пирогами, престольными праздниками и т.д. (хотя у Куприна есть только один многосемейный дом, — бардак в "Яме", — а у меня особенно много блядей в "Темных аллеях").

Villa Le Fornel, Juan-les-Pins, A.M. 15 января 48 г.

Дорогой Борис, не понимаю, почему ты не понимаешь моего "поступка" (хотя, право, это слово уж очень сильно!) и никак не согласен с тобой, что "впечатление от него, всеобщее, было то, что "я" поддержал советских и советофильствующих": оно было, очевидно, только в Вашем кружке, но и то мне удивительно: ведь в моем письме было сказано: "исключительно в силу этого обстоятельства", т.е.: "никогда не бывая на заседаниях Союза и не принимая никакого участия в его скандалах и решениях, я не хочу нести за них никакой ответственности, которая все-таки может как-то падать на меня", — я не написал этого Вам только потому, что думал, что это и без того понятно, — что ж тут разжевывать, Вы не дети! Но в моем ответе Марье Самойловне! на ее несчастное письмо я сказал: "Можно спросить: почему же я не ушел из Союза давным давно? Да просто потому, что прежде жизнь Союза текла мирно, буднично, а с некоторого времени пошли какие-то бурные заседания, какието распри, изменения устава, начался его распад, превращение в кучку сотрудников "Русской Мысли", среди которых блистает чуть не в каждом номере Шмелев, участник парижских молебнов о даровании победы Гитлеру... Мне вообще теперь не до Союзов и всяких политиканств, я всегда был чужд всему подобному, теперь особенно: я давно тяжко болен..." и т.д. И еще: "Я отверг все московские золотые горы, которые мне предлагали, взял десятилетний эмигрантский паспорт — и вот вдруг: "Вы с теми, кто взял советские паспорта..."

И еще так я отвечал М.С-не: "Когда представитель тех многочисленных членов Союза, что составили (а потом напечатали) свое коллективное заявление о своем выходе из Союза после исключения из него "советских" граждан, явился ко мне и предложил мне присоединиться к их заявлению, я присоединиться твердо отказался, сказавши, что отказываюсь как раз потому, что считаю неестественным соединение в Союзе эмигрантов и "советских" подданных, меж которыми есть и такие журналисты, что, по своим убеждениям или по обязанностям, то и дело, всячески хулят, порочат в своей парижской печати эмигрантов". Как же после этого могло быть всеобщим "впечатление", о котором ты пишешь? Мои слова этому представителю, конечно, стали очень скоро известны очень многим. Что касается других, вышедших из Союза после этой истории с "советскими" гражданами, то и среди них было не мало таких, что ушли вовсе не потому, что они хотели "поддержать советских и советофильствующих". А, например, про Веру и говорить нечего. Ты не можешь не знать, что она осталась в Эмигрантской Церкви, что ее убеждения уж никак не "советофильские", — она говорит, что ушла потому, что ей стало "совершенно невозможно оставаться в Союзе после того, что делалось в нем на двух последних заседаниях" и прибавляет: "Да и сам Борис сказал мне 24 мая, что он против исключения тех, у кого советские паспорта..."

Думаю, что ты и М.С-не писал о моем "поступке" в том же духе, как мне в этом последнем, нынешнем письме, и тем способствовал ее неумеренному, опрометчивому письму ко мне, которым она столь многих восстановила против себя и в Париже и в Нью-Йорке — имею уже много сведений об этом. [...]

Но пора поставить точку и в этом письме и во всей истории этой, уже весьма надоевшей мне, — кончаю.

Про Шмулевича знаю уже давно. В этом случае даже

завидую — молодец! Будь здоров, целую Вас обоих.

Твой Ив.

1. М.С. Цетлина.

29 января 48 г.

Дорогой Борис, ты пишешь: "Ведь выходит, что ты отделению эмигрантов от советских сочувствуешь... а от нас ушел. Не понимаю..." Но я уже объяснял тебе, почему ушел — не желая нести все-таки некоторой ответственности, — в глазах "общественности", — за Ваши "бури" и решения. Затем: "Ты, повидимому, думаешь, что на письмо М.С -ны к тебе есть доля моего влияния. Это совершенно не верно." [...] — но что меня действительно взбесило, так это то, что я узнал вчера из письма Михайлова: оказывается, в Париже пресерьезно многие думали, в том числе и Ельяшевич. — что мне от М.С-ны и при ее участии от "всей" Америки просто золотые реки текли и что теперь им конец и я погиб! Более дикой х.....ы и вообразить себе невозможно! Как все, и даже меньше других, я получал от частных лиц обычные посылочки, получал кое-какие от Литературного Фонда через Долгополова, больше всего получал от Марка Александровича, а что до долларов, то тут М.С-на была только моим "кассиром": в ее "кассу" поступало то (чрезвычайно скудное), что мне причиталось за мои рассказы в "Новом Журнале", поступало то, что было собрано (и весьма, весьма не густо!) в дни моего 75-летия при продаже издания брошюркой моего "Речного трактира", и еще кое-какие маленькие, случайные, крайне редкие пожертвования кое от кого: вот и все, все! Теперь мне "бойкот"! Опять ерунда, х....а! Доллары уже прожиты, о новых я и не мечтал, а посылочки, верно, будут, будет в них и горох и чечевица, за которую я, однако, "первородство" не продавал и не продам.

Твой Ив.

P.S. Телеграммой от 7-го января М.С. обещала дать "explications" на мой ответ ей. А доныне молчит.

9 августа 481

Спасибо Вам всем, милые, за добрые чувства. Пишу еще в постели — нынче месяц, как я в ней. Был *очень* плох, чуть не на пороге смерти — воспаление в легком. Теперь уже дней 10 сухой плеврит, изредка маленький жар. Слабость несказанная. Всех Вас целую.

Ив.Б.

Мы были у Вас в Пюжете в июле 1926 года (28 июля по новому стилю).

^{1. &}quot;Это письмо Бунина мне и Вере — Зайцевым" (почерком самого Зайцева).

КОММУНИЗМ: У ВСЕХ НА ВИДУ — И НЕ ПОНЯТ

Мы перепечатываем оригинальный русский текст статьи Александра Исаевича Солженицына из "Нов. Русск. Слова" от 17 февраля. По-английски статья опубликована в журнале "Тайм". Редакция "Нового Журнала" считает сделанный А.И. анализ отношений между Западом и коммунизмом за 60 лет блестящим и по форме и по своей глубокой сути. Было бы печально, если бы сейчас, в переживаемые всем миром трагические дни, Запад не прислушался к голосу Александра Исаевича, как к великому человеческому предостережению. Р.Г.

Гибельные ошибки Запада относительно коммунизма начались с 1918: с самого начала западные правительства не увидели себе смертельной опасности. В России тогда объединились против коммунизма все прежде враждовавшие силы от государственных до кадетов И правых социалистов. соединенно с ними в одних рядах, разрозненно, но тысячами крестьянских и десятками рабочих восстаний сопротивлялась коммунизму вся толща народа. Красная армия была собрана расстрелами десятков тысяч уклонявшихся от большевистской мобилизации. И этого нашего национального противостояния коммунизму западные державы не поддержали. На Западе распространялись самые фантастически-розовые представления о коммунистическом режиме — и "прогрессивная" общественность Запада горячо приветствовала его, хотя уже в 1921 в 30 губерниях России шел камбоджийский геноцид. (Еще при жизни Ленина было уничтожено невинного гражданского населения не меньше, чем при Гитлере, — а сегодня американские школьники, единодушно называя Гитлера величайшим злодеем истории, — считают Ленина благодетелем.) Западные страны, соревнуясь между собой, спешили экономически укрепить и дипломатически поддержать советский режим, который не мог бы выжить без этой помощи. Смерть 6 миллионов от голода на Украине и Кубани Европа протанцевала.

Чего этот прославленный режим стоит — обнаружилось всему миру в 1941 году: от Балтийского до Черного моря Красная армя откатывалась, как сдутая ветром, несмотря на свое численное превосходство и прекрасную артиллерию, — откатывалась, как не знала Россия 1000 лет и не знала военная история человечества. За несколько месяцев сдалось в плен около 3 миллионов воинов! Это и было открытое выражение, что наш народ жаждет конца коммунизма, — и Запад не мог этого не понять, если бы хотел видеть. Но Западу близоруко казалось, что все мировые угрозы — в одном Гитлере, а с его свержением уже не останется опасности на Земле. Запад тогда всеми силами помогал Сталину оседлать национальную лошадь под коммунистическую власть. Так во 2-й мировой войне Запад защищал не всеобщую свободу, но лишь свободу для себя. И в конце войны выдавал Сталину на расправу русские дивизии, татарские и кавказские батальоны и сотни тысяч военнопленных и подневольных, стариков, женщин и детей, не желавших возвращаться под гнет, — и выдача эта производилась со стороны Запада фашистско-коммунистическими методами, британские солдаты сами кололи и стреляли казаков, своих союзников по 1-й войне, чтоб только купить дружбу со Сталиным. Сталин Рузвельтом, как игрушкой, легко обеспечил себе захват Восточной Европы, — от Ялты началась 35-летняя полоса американских капитуляций, лишь коротко прерванная в Западном Берлине и в Корее (когда сопротивлялись — тотчас и выигрывали). Я уже выражал, что весь период от 1945 по 1975 есть как бы еще одна мировая война, без боя и беззащитно проигранная Западом, отдавшим мировому коммунизму два десятка стран.

Основа этих капитуляций была двойная. Во 1-х, духовная слабость всякого благополучия, которое боится собою рисковать. Но во 2-х, и никак не меньше, полное непонимание смертельно-злобной непримиримой природы коммунизма,

единой и опасной для всех стран. Феномен коммунизма XX века объясняют неисправимыми свойствами русской нации, — по сути расистский взгляд. (А в Китае? Вьетнаме? Кубе? Абиссинии? да хоть и Жорж Марше?) Ишут порчу только не в самом коммунизме. Агрессивность его объясняют (Гарриман) напуганностью чужой агрессией, — и только поэтому колоссальные вооружения и захват новых стран? Западные дипломаты строят зыбкие расчеты на каких-то несуществующих "правом" и "левом" крыльях Политбюро, когда все там едины в стратегии мирового захвата и неразборчивы в средствах. Если бывает в Политбюро борьба, то число личная, и она не может служить никакому дипломатическому использованию. Средний советский человек, лишенный всей мировой информации и советологической литературы, все это знает отлично. И неграмотные афганские пастухи разобрались безошибочно: они сжигают портреты именно Маркса и Ленина, а не развешивают уши к тому, что Брежнев был болен и только поэтому их оккупировали. (Трезвые средние американцы тоже понимают природу коммунизма лучше своих публицистов и ученых.).

Спросите раковую опухоль — зачем она растет? Она просто не может иначе. Так и коммунизм: не может не захватывать новых стран, злобным инстинктом, а вовсе не разумом стремясь к захвату и всего мира. Коммунизм — это новое качество, не виданное во всей мировой истории, и бесплодно искать аналоги. Все предупреждения Западу о беспощадной и ненасытной природе коммунистической власти остаются втуне: этого не хотят принять именно потому, что это слишком страшно. (Разве в Афганистане трагедия произошла не 2 года назад? Но Запад закрывал глаза и оттягивал, сколько мог, — для призрака разрядки.). Десятилетиями отнекиваются: "мирное сосуществование", "разрядка", "миролюбие кремлевского руководства", — а тем временем коммунизм отхватывает страну за страной и берет новые ракетные уровни. И самое поразительное: коммунисты десятилетиями не скрывали (пока еще не поумнели), объявляли громко, что их задача — уничтожить буржуазный мир, — а крайняя "Какая улыбался: шутка". Но уничтожить класс — это уже продемонстрировано в СССР: это значит — физически уничтожить те 10—15 миллионов, которые

составляют класс, — и рука коммунистов еще никогда не дрогнула. Как и сослать целый народ в 24 часа в пустыню. Свои "идеалы" коммунизм может осуществлять только за счет уничтожения коренной основы жизни всякой страны. И кто это понимает — не подумает, что китайский коммунизм миролюбивее советского (просто — зубы не отросли), или титовский коммунизм хорош по характеру: на таком же кровавом замесе, на массовых убийствах укрепился и он, — но только Запад по слабонервности предпочел этого не заметить в 1943-45. Кто понимает — не будет гадать: доходит или не доходит мировая помощь до умирающих камбоджийцев через власти Сам-Рина? — конечно, не доходит, конечно, все отгребается для армии и государства, а люди — подыхайте.

Вся комедия "разрядки" нужна коммунизму только для того, чтобы укрепиться за счет западных финансов (эти займы не будут возвращены) и западной техники, — перед тем, как начать следующее большое наступление. Коммунизм крепче и долговечнее нацизма, он и гораздо тоньше и умней в пропаганде и умеет разыгрывать такие комедии.

Коммунизм не переродится никогда, он всегда будет являть человечеству смертельную угрозу. Это — как инфекция в мировом организме: как бы она ни притаилась — она неизбежно ударит заражением. И не надо хвататься за иллюзии, что есть страны с иммунитетом против коммунизма: любая ныне свободная страна может быть доведена до обморока и полного подчинения.

А тем не менее все появляются, и в немалом числе, такие целители, которые над остроинфекционной коммунистической заразой ставят успокоительный диагноз: "эта болезнь — не заразна, это — наследственная русская болезнь, и она никогда не перекинется на нас". И вот их лечение: только не сердить брежневский режим! но поддерживать его и снабжать, а ненавидеть и противиться надо — всякому возрождению русского национального сознания — того единственного, что реально ослабляет советский коммунизм изнутри! Это — целая последовательная кампания, ее ведут видные американские профессора и публицисты, а безответственную пристрастную информацию им поставляет группа новых эмигрантов из Советского Союза. Эта

пропаганда — безумна для самого Запада и обезоруживает его. После того как национальные силы нашей страны были первый раз преданы Западом в гражданскую войну и 2-й раз во 2-ю мировую, — теперь открыто призывают совершить это предательство в 3-й раз! Этот совет — губительный для русского народа и других народов СССР, — но столько же губительный и для Запада: на погибель нам — но и на погибель вам! Сейчас коммунистическая верхушка со своей одряхлевшей идеологией снова мечтает оседлать русский национализм для своих имперских целей, — а такие западные руки толкают коня под всадника — под всадника против себя самих! — не оставляя коню никакого другого выхода, никакой надежды.

Коммунизм враждебен всякой национальности и уничтожает всякую. Американское антивоенное движение долго тешило себя надеждой, что в Северном Вьетнаме национализм и коммунизм гармоничны, что коммунизм-то и заботится о национальном самоопределении своего любимого народа. Но погребальная флотилия вьетнамских лодок в океане, даже сосчитанная в своей непотонувшей части, — быть может не самым пламенным деятелям того движения, но хоть некоторым объяснила, где истинно находится (и все время находилось) национальное самострадания сознание. И жгучие миллионов умирающих камбоджийцев (к которым мир уже привыкает) еще И разительней показывают то же. А Польша — всего лишь молилась несколько папских дней, и только слепые могли не увидеть, где народ, а где коммунизм. А еще — будапештские повстанцы. А еще — восточные немцы, зачем-то умирающие под берлинской стеной. А еще — китайцы, зачем-то переплывающие акульное море под Гонконгом. Китай — глуше всех скрывает свои тайны, — и вот Запад спешит поверить хоть в этот "хороший, миролюбивый" коммунизм. Но та же смертельная пропасть и ненависть лежит между китайским правительством и китайским народом.

В таком же соотношении с коммунизмом находится и русское национальное сознание. Запад беспечно — и горько для нас — путает в употреблении слова "русский" и "советский", "Россия" и "СССР", а применять первое ко второму — подобно тому, как признать за убийцей одежду и паспорт убитого. Без-

думное заблуждение — считать русских в СССР "правящей нацией". Нет, они приняли на себя еще от Ленина самый первый сокрушающий удар, положили еще тогда миллионы мертвых (да убитых по выбору, всех отменных), еще прежде геноцидной коллективизации. Тогда же вся русская история была облита помоями, церковь и культура раздавлены, уничтожены духовенство, дворянство, купечество, за ними и крестьянство. Впоследствии удары от власти получали и все другие народы, но сегодня русская деревня находится на самом низком в СССР жизненном уровне, русские провинциальные города — самые низкие по снабжению. На огромных просторах нашей страны нечего есть, и закупки американского зерна никак не улучшили народного питання (зерно идет в мобилизационные амбары). Русские — главная масса рабов этого государства. Русский народ изможден, биологически вырождается, его национальное сознание унижено, подавлено. От души русского воинствующий национализм сейчас далее всего, империя ему отвратна. Но коммунистическое правительство зорко следит за своим рабом и более всего подавляет его бескоммунистическое сознание, — оттого гноят в лагерях его свободомыслящих (Огурцов - 20 лет, Осипов - 16, Орлов - 7), сноваарестовывают священников — духовных учителей народа (о. Глеб Якунин, о. Дмитрий Дудко), невинный комитет защиты верующих, доедино — общины молодых христиан, ссылают академика Сахарова.

В ожидании 3-й мировой войны Запад снова ищет, кем заслониться, — и находит себе в союзники коммунистический Китай! Это снова предательство — не только Тайваня, но всего угнетенного китайского народа, — ибо его толкают конем под коммунистического всадника. Поддерживая дружбу с китайским правительством, Америка помогает укрепить гнет над китайским народом. Но кроме того — это безумная, самоубийственная политика: снабдив миллиардный Китай американским оружием, вы победите СССР, но уже дальше никакая масса на земле не удержит коммунистический Китай от мирового господства.

Коммунизм останавливается только тогда, когда встречает стену — хотя бы стену непоколебимой воли. И такую стену

теперь не избежать создавать Западу в его уже крайнем положении. А между тем 20 возможных союзников уже отданы во власть коммунизма после 2-й мировой войны. А между тем вашей технологией уже развиты устрашающие военные силы коммунизма. Теперь придется устанавливать стену из оставшихся сил. Нынешнему поколению Запада придется самому стать стеной на той дороге, по которой его предки легкомысленно отступали 60 лет.

Но! — все порабощенные народы за вас: и русский народ, и все народы СССР, и китайский, и кубинский. И только в расчете на этом союз и эту помощь может иметь успех стратегия Запада. Только вместе с ними вы составляете решающую силу на Земле. И принципиально: если отстаивать свободу не только свою, но и всего мира, — то нет другого пути.

Конечно, это потребует от ваших политиков, дипломатов и военных решительной перестройки нынешних представлений, приемов и тактики.

Пять лет назад всеми моими предупреждениями правительственная Америка пренебрегла. Вольно вашим деятелям пренебречь и сегодняшними. Но сбудутся и они.

Александр Солженицын, Вермонт, январь 1980.

одинокий мыслитель

Оказывается, что в СССР один слой населения уже добился свободы и безопасности. Слой этот вышел, наконец, из-под бремени репрессивной системы. Он может свободно общаться со всем миром. Он в курсе всего того, что совершается на Западе. Он, наконец, осуществил тот желанный обмен информацией, который был запланирован соглашением в Хельсинки. Его неконформизм не наказывается. Даже его диссидентство не вызывает карательных действий со стороны власти. Многообещающая свобода этого слоя вселяет большие надежды. Вскоре она сможет быть распространена и на другие группы населения, и тогда ... вся необъятная страна радостно и свободно вздохнет, с благодарностью склоняясь перед теми, кто открыл перед ней путь освобождения!

Что же это за слой? Почему о нем до сих пор ничего не знали? Где его представители? Где его литература? Оказывается, те, кто был увлечен суетной борьбой за всякие мелкие "правишки", те, кто исхитрялся как бы не сесть в тюрьму за перепечатку самиздата или же за право вовсе покинуть СССР, просмотрели гигантское общественное течение, которое в результате длительной суровой методической борьбы, без излишнего шума, скромно, но твердой рукой добыло желанные свободу и безопасность.

Пока некоторые, обуреваемые суетной жаждой мирской славы, бегали жаловаться корреспондентам и плакались в жилетку первым попавшимся иностранцам, нашлись великие и добродетельные мужи, зорко взиравшие на будущее. И вот результат! Их свершения настолько велики и настолько подавляют собой, что пришла, наконец, пора пересмотреть свои исходные позиции, прекратить всякую фронду, губящую чело-

веческие способности, духовные силы и встать на единственный творческий путь, ведущий к человеческому освобождению. Пора этим людям удалить, наконец, катаракту, заграждающую истинный свет, и прямо без обиняков признаться в том, что они заблуждались, что они щли по неверному пути, что они простотаки заблудились, свернув в тупик, из которого выход может быть только один.

Но зная человеческую слабость, разве можно надеяться на то, что найдется много таких, которые найдут в себе гражданское мужество — признаться в своих заблуждениях? Ведь, увы, большинство все равно будет рьяно упорствовать в своих ошибках, несмотря на всю их очевидность!

Приходя к этой мысли начинаешь лишний раз убеждаться, насколько несовершенен человек и насколько трудны пути тех, кто хочет указать людям истинный путь. Поистине их голоса оказываются гласом вопиющего в пустыне!

И таким именно трагическим голосом, равным по силе Жозефу де Местру, оказывается голос Одинокого Мыслителя, нашедшего в себе незаурядное интеллектуальное мужество сказать, что советский правящий слой и есть та передовая общественная сила, добившаяся свободы и безопасности; советский правящий слой уже 60 лет идущий в истинном авангарде борьбы всего народа за права человека!

С силой, равной не только, может быть, де Местру, но и Ортега и Гассету, а быть может, и самому Отто Штирнеру Одинокий Мыслитель утверждает: — "Уравнительные чувства, быть может, будут задеты привилегиями, получаемыми важными советскими гражданами. Но при этом нужно помнить, что через всю историю права всех граждан обычно возникали вначале как привилегии для некоторых. В этом смысле тот факт, что, по крайней мере, один советский слой добился относительной безопасности и свободы, отнюдь не является отрицательным развитием".

Приводя эти слова Однокого Мыслителя ни на одну минуту не следует забывать, что этот Руководящий Слой добыл свои права с величайшим трудом. Сколько врагов поднимали руку, желая уничтожить его завоевания! Кронштадтская чернь, стремившаяся в корне подрезать великие освободительные

планы; злобные тамбовские и сибирские Шуаны, не желавшие понять того, как собранный ими хлеб позарез нужен тем, кто только приступил к построению свободы.

Пришлось пойти на крутые меры, чтобы охранить первые ростки свободы и безопасности. Пришлось, не колеблясь, избавиться от всех тех, кто не только сопротивлялся, но даже мог усомниться в том, что ростки свободы нужно защищать от покушения врагов всеми доступными мерами.

И эта священная борьба никогда не утихала. То в Новочеркасске, то в Муроме, то в Краснодаре находились преступники, внушавшие черни мятежные мысли о том, что ей якобы нужен хлеб и масло наравне с ревнителями свободы и безопасности. Разве они понимали, что требуя хлеба и мяса они хоронят тем самым свое собственное светлое будущее?

В самом деле, если бы эти люди хорошо знали историю, они, напротив, сами должны были бы добровольно отказаться еще и от излишков, которые заботящаяся о народе власть соблаговолила им дать. Никогда ведь русское дворянство не довольствовалось такой свободой и безопасностью, как во времена крепостного права. И для того чтобы обеспечить эту свободу, столь много сулящую России, не надо ли подумать о том, чтобы добровольно отказаться от всего лишнего в пользу передовой общественной группы или, как предпочитает говорить Одинокий Мыслитель, Слоя, отказаться от той ни к чему ненужной личной "свободы", подчас лишь мешающей строить счастливое будущее всей страны.

Да и зачем нужна "свобода" русской черни, веками не знавшей, что такое истинная демократия? Одинокий Мыслитель так именно и говорит, нисколько не боясь суда современности, зная всю суетность мнения толпы, как не боялись ее де Местр, Ортега и Гассет, Штирнер. Демократия это не удел черни. Ею могут наслаждаться разумные просвещенные люди на Западе или же передовой общественный Слой в СССР, унаследовавший лучшие идеалы человечества, следуя известному завету Ленина о том, что коммунистом может стать лишь тот, кто овладеет всем культурным наследием человечества. И это тем более важно подчеркнуть, что в настоящее время на Западе, к сожалению, находится слишком много тех, кто воспринимает т.н. советских

"инакомыслящих" как якобы поборников демократии, в то время как каждому непредубежденному наблюдателю ясно, что они злейшие ее враги, ибо не желают понять прогрессивной освободительной роли Советского Руководящего Слоя.

Прежде всего это случилось потому, прямо говорит Одинокий Мыслитель, что "изучение инакомыслия на Западе превратилось в абсолютную монополию ученых, симпатизируюдиссидентам". Особенно справедливое вызывает у Мыслителя профессор Леонард Шапиро. Нельзя было допускать такого положения. Если бы изучение т.н. "инакомыслия" сразу оказалось, например, в надежных руках Одинокого Мыслителя и других близких ему людей, ничего этого бы не произошло. Но хуже того, злейшие враги демократии, одетые в личину "инакомыслия" повлияли на американское восприятие советской действительности, ставшее черно-белым, а именно превратившись в возмутительный стереотип — "глупых, продажных и тиранических советских чиновников, с одной стороны, и героических, беззаветных и блистательных оппозиционеров, с другой стороны".

Но на деле, твердо говорит Одинокий Мыслитель, реальная картина намного сложнее. И в самом деле, как могло американское общественное мнение так подумать о советских чиновниках, которые, не жалея сил, стремятся расширить добытые ими в тяжелой борьбе права человека на все общество, вряд ли их еще заслуживающее. А это не так легко в первую очередь из-за лжедиссидентов, желающих лишь злоупотреблять гуманностью Руководящего Слоя.

И еще хуже, мужественно говорит правду в лицо Одинокий Мыслитель: "диссиденты, вроде Солженицына и Максимова, очень полезны тем, кто считает, что США сделали слишком много уступок СССР и что фактически это была лишь улица одностороннего движения". Как прав Одинокий Мыслитель! Как прав! Надо было напротив сделать СССР как можно больше уступок! И только тогда огромный потенциал свободы и безопасности, завоеванный титаническим трудом Руководящего Слоя смог бы быть целиком использован на благо всего человечества.

О каких реальных уступках можно еще говорить, когда

советских органов безопасности сотрудникам приходится нелепо скрываться за пределами СССР, придумывая себе всякие фиктивные должности? Все так от этого устали! На это уходит столько народных средств! Кому это нужно? Почему бы в каждом американском штате не открыть (как и в СССР) штатное отделение КГБ, куда каждый американский гражданин мог бы запросто прийти и попросить совета или же поделиться своими заветными мыслями. О каких уступках может идти речь, американская администрация, грубо нарушая синкские соглашения об обмене информацией, трусливо скрывает свои правительственные разговоры, а когда советское посольство в Вашингтоне в поисках истины и в борьбе за мир и безопасность во всем мире, само желает с помощью собственной аппаратуры выяснить, что же это за разговорчики такие ведутся среди американской администрации, то эта самая администрация подло начинает прятать свои антенны подальше от мирового общественного мнения. И еще кто-то говорит об уступках! Прав, тысячу раз прав Одинокий Мыслитель, прямо заявляя об этом, гневно срывая маску с Солженицыных Максимовых! Но лицемерие американских политиканов зашло, как замечает Одинокий Мыслитель, и еще дальше! Они не нашли ничего лучше, как, грубо нарушая Хельсинкские соглашения, поддержать группу злостных провокаторов, которые, прикрываясь якобы "заботой" об этих соглашениях, начали грязную подрывную деятельность против существующей системы!

"В американских средствах массовой информации, горестно замечает он, восторжествовало мнение, что эта группа была организована для наблюдения за нарушениями советской стороной заключительного акта конференции по европейской безопасности и сотрудничеству, и что ее члены подверглись несправедливому преследованию 3a деятельность. Однако на деле факты выглядят несколько иначе. (Тут чувствуется, как Одинокий Мыслитель, с трудом сдерживая свой справедливый гнев, прибегает к эзоповским выражениям. Но это и хорошо! Представьте, как было бы дурно, если бы он опустился ДΟ уровня этих лжедиссидентов, поливающих помоями настоящее полноценное инакомыслие). Прежде всего, — говорит далее Одинокий Мыслитель, — члены этой группы

вышли почти исключительно из рядов диссидентского движения. (В самом деле разве не могла бы заняться контролем над этим соглашением Комиссия Народного Контроля и различные депутатские группы при местных советах? Кто просил этих самозванцев совать свое рыло туда куда не надо?) Во-вторых, эта группа никогда не проявляла интереса в наблюдении за первой и второй "корзиной", имеющей дело с безопасностью и экономикой, что представляло особый интерес для советского правительства. (И здесь Одинокий Мыслитель угодил в самую точку! Почему эти отщепенцы, эти смутьяны не добивались для СССР выгодных экономических заказов, беспроцентных займов, продажи стратегических товаров, выдачи военных секретов? Почему? Почему они не стремились разоблачать империалистической военщины, до сих пор нагло требующей военных ассигнований в своих странах якобы для их защиты?) Вполне естественно, — говорит Одинокий Мыслитель, — для политических оппозиционеров, что они только на одной корзине -- "корзине № 3", говорившей об обмене информацией и о воссоединении семей"

И этого никто не заметил до Одинокого Мыслителя! Какой острый ум! Какое интеллектуальное мужество! А правда, зачем это им было нужно? Что им мало того, что Руководящий Слой с таким трудом добился для себя обмена информацией? А что касается семей, то женился же ведь простой русский моряк парень Сережа Каузов на Кристине Онассис?

"Некоторые из заявлений этой группы — как всегда без обиняков говорит Мыслитель — ясно показали, что ее целью было не осуществление наблюдения за заключительным актом, а дискредитация советской практики наказаний в широком смысле". А разве это предусматривалось в Хельсинки? Да ведь как день ясно, что нет!

Обмен информацией? Да, он есть! В каждом крупном учреждении в СССР есть такие отделы, которые снабжают информацией сотрудников в соответствии с их рангом. В гостиницах висят списки иностранных газет, которые здесь можно приобрести. Приходи вовремя (только вовремя!) и получай! Есть специальный канал телевидения — для Руководящего Слоя, по которому можно смотреть новейшие

иностранные фильмы ...

Правда, Одинокий Мыслитель с присущим ему благородством не оправдывает ареста этих самозванцев, этих смутьянов, но как он мудро замечает, "это ставит их деятельность и реакцию на нее режима в другую перспективу". А как бы реагировали американцы на такую группу у себя, задается Мыслитель смелым и справедливым вопросом. О! Страшно и подумать!!! Их бы тут же взяло на заметку ФБР, говорит он, им бы стало трудно с работой и многое, многое другое! Вспомним, как, например, было трудно известной артистке Джейн Фонда, осмелившейся поехать в Ханой во время Вьетнамской войны, дабы сказать вьетнамским братьям, что американские войска несут им рабство. Как было трудно героической Анджеле Дэвис, не побоявшейся помочь борцам за свободу американского народа, а потом поехать в СССР. Как было трудно американскому представителю в ООН Эндрью Янгу, признавшему наконец, что в США томятся тысячи политических заключенных! А разве не гноили в США в тюрьме мужественную дочь американского народа Патти Херст?

Да тут сразу возникает тяжелое беспокойство за судьбу самого Одинокого Мыслителя? А вдруг и у него возникнут (или уже возникли) трудности с ФБР? Вдруг костлявая рука врагов свободы начнет преследовать и его, зажимая ему рот?

Но Одинокий Мыслитель не боится ничего, и этим дает всем нам пример настоящего гражданского мужества! Он прямо говорит: "Основное течение советского диссидентского движения далеко ушло от борьбы за введение права и гуманности в советскую официальную практику".

И это святая правда! Ведь этот, например, профессиональный смутьян Гинзбург! Он что делал? Защищал право и гуманность? Нет уж! Позвольте! Он ведь раздавал деньги родственникам заключенных, тем самым поощряя других на совершение таких же политических преступлений! А Орлов? Защищал этих психов-пятидесятников? Это что, тоже попытка внедрить закон и гуманность в советскую официальную практику? Раз не пускают их за границу, значит им там и делать нечего! Вот и всё. Нужно ли из-за этих "идиотов" рисковать с трудом добытыми свободой и безопасностью!? Работал бы себе этот Орлов, как и его бабка,

в уборной Парка культуры и отдыха им. Горького в Москве, а не лез бы в политику! Всякие Орловы, Гинзбурги и прочие, видите ли, хотели право и гуманность внедрять, но лишь для того, чтобы взять под сомнение свободу и безопасность Руководящего Слоя. Нет, такое право и такая гуманность не нужны!

Прав Одинокий Мыслитель, говоря, что "частичные реформы, которые оставят фундамент системы неизменной, диссидентов не удовлетворят". Конечно, не удовлетворят! Что сделал, например, этот Слепак? На балконе своем на 9-м этаже вывесил плакат: "Пустите к сыну в Израиль". Такого что-нибудь удовлетворит? Сидишь себе 9 лет, ожидая визы и сиди. Может лет через пять и дадут тебе эту визу. Разве уже это не есть частичная реформа, что его до сих пор еще не арестовали? Так он еще плакаты вздумал вывешивать! Такого ничем не удовлетворишь. Как волка ни корми, он все в лес глядит.

Но Одинокий Мыслитель не остановился на этом. Он вскрывает социальные лжеинакомыслия, причины пагубно влияющего и на борьбу, ведущуюся в СССР за свободу и безопасность, и осложняющего международную обстановку. А социальный анализ показывает. что это лжеинакомыслие что Руководящий Слой В первую удовлетворяет интересы рабочих и колхозников, так что рост благосостояния интеллигенции отстает, как говорит Одинокий от роста благосостояния указанных населения. Тут-то уж всё становится на свои места... Оказывается эти тунеядцы, эти хапуги, прикрывающиеся громкими фразами о гуманности и праве, просто с жадностью рвут кусок хлеба изо рта трудящихся! Так не выйдет! Не выйдет!! Мускулистая рука класса под водительством Руководящего уничтожит эти попытки в корне и покажет зарвавшимся интеллигентам где раки зимуют.

Но и здесь не положен предел пытливому взору Одинокого Мыслителя. Он идет до конца и развенчивает басни о т. н. демократизме "инакомыслящих". Оказывается в противоположность истинному демократизму Руководящего Слоя, "инакомыслящие" на самом деле исповедуют различные авторитарные идеологии. Это можно обнаружить, тончайшим образом замечает Одинокий Мыслитель, по отношению т.н.

"инакомыслящих" к репрессиям за пределами СССР и по ожесточенным дебатам между собой. Все думали, что Солженицын противник тоталитаризма! Не тут-то было! Он желает ввести в СССР авторитарное правление и задушить тем самым первые ростки свободы и безопасности, взошедшие, наконец, на политической ниве страны. Солженицын похвалил тическую систему в Испании, но разве эта система, мирно сошедшая со сцены, не внушает презрения тем, кто взялся принести твердой рукой счастье советскому народу, добившись свободы и безопасности прежде всего для себя, чтобы уже потом добиваться ее и для других! Могли ли бы такие люди справедливо смотреть на себя без стыда, если бы, как франкисты, без боя уступили поприще таким демагогам, как Сантъяго Каррильо? И это Солженицын противопоставляет советской политической системе? А "Континент", — замечает Одинокий Мыслитель, что-то еще осмелился говорить о политзаключенных в Греции и Чили, где преследованию подверглись люди, обладающие столь же ясным взглядом на социальные перспективы общества и желавшие прямо идти по дороге, открытой для них Руководящим Слоем тяжким трудом и самопожертвованием. А что касается их дебатов, то это просто позор. Политическая полемика давно уже вышла из употребления повсюду, лишь т.н. "диссиденты" ею и занимаются.

Что же теперь можно о них сказать? Возникает, горестно замечает Одинокий Мыслитель, гнетущий вопрос: "Какова же сила преданности диссидентов демократическим идеалам?" Да можно сказать прямо! Чего уж там темнить! Никакой такой преданности у них и в помине нет и не было! Дай им только возможность, они тебе как гоголевский губернатор, вышьют кошелек! Они тебе устроят демократию! Что останется тогда от лучших завоеваний в борьбе за свободу и безопасность?

Но этого никто не допустит! И хотя, конечно, можно было бы и не судить членов этой Хельсинкской группы (здесь уже гуманность Одинокого Мыслителя хватает через край; во всем надо знать меру), но все же можно облегченно вздохнуть, узнав, как советский народ дал по рукам этой презренной группе.

К сожалению, эти глубочайшие откровения Одинокого Мыслителя, ставящего его в ряды самых выдающихся полити-

ческих философов нашего времени, опубликованы в малораспространенных известиях Американской Академии Политических Наук*. Как важно было бы распространить его идеи возможно шире. Вот задача по плечу такому журналу, как "Дер Шпигель"! И тут вовсе не надо останавливаться перед тем, что найдутся борзописцы, злые языки, которые скажут, что г-н Димитрий Симес (запомним навсегда это великое имя!) не эмигрировал в 1973 году в США, уволившись с работы из ведомства г-на Арбатова, а просто поехал в заграничную командировку. Но Одинокий Мыслитель, горько предвидя эту клевету, отметил, что стоило братьям Медведевым сказать правду в глаза всему миру о всяких там Сахаровых и Солженицыных, как их во всех углах стали обвинять нивесть в чем.

Для того чтобы свести на нет интеллектуальное мужество Одинокого Мыслителя, будут еще говорить всякие небылицы, что он якобы вхож в советское посольство в Вашингтоне, что он будто бы был (а хотя бы и был!) одним из организаторов кампании, чтобы не давать почетного гражданства США Солженицыну, что у него останавливается известный политический обозреватель "Правды" Юрий Жуков (а хоть бы и останавливался?), но кого это может обмануть?

Будут даже провокационно спрашивать, зачем этому выдающемуся человеку "наивные" американцы доверили руководить советологическим центром в Джорджтаунском университете по соседству с самим великим Киссинджером, зачем журнал "Ньюсуик" берет у него интервью по вопросу о недостаточности уступок СССР? Да, интеллектуальное мужество в веке сем не вознаграждается, но если уж кто решил идти путем правды, вопреки всем опасностям своего пути, то, как пилигрим Джона Бэньяна, достигнет своего!

Михаил Агурский, Иерусалим

^{*} D. Simes, "Human rights and detente", Proceedings of the Academy of Political Science, v. 33, N 1, 1978.

СУДЬБА РУКОПИСИ "БРАТЬЕВ КАРАМАЗОВЫХ"

В 1979 г. было столетие выпуска первых частей романа "Братьев Карамазовых", а в 1980 г. — столетие окончания журнальной публикации произведения выпуск И отдельного издания "Братьев Карамазовых". Ф. М. Достоевский создавал роман на протяжении 1878-1880 гг. 8 ноября 1880 г. Федор Михайлович, отсылая последние страницы своего труда в "Русский вестник", где публиковался весь роман, писал Николаю Алексеевичу Любимову, редактору журнала, издаваемого М. Ф. Катковым: "Ну, вот и окончен роман! Работал его три года, печатал два — знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги" (цит. т. 15 "Литературное наследство", с. 447).

Надежды и ожидания Достоевского, что его последний роман будет пользоваться читательским успехом полностью оправдались с первых же месяцев публикации в "Русском вестнике". 12 марта 1879 г. Федор Михайлович пишет Виктору Феофиловичу Пуцыковичу (редактору "Гражданина"): "Братья Карамазовы производят здесь фурор (в Петербурге) — и во дворце и в публике, и в публичных чтениях, что впрочем увидите из газет" ("Голос", "Молва" и проч.).

Интерес к "Братьям Карамазовым" не ослабевал до самого конца его двухлетней публикации и вызвал обоюдоострую критику и читательские запросы. Отдельное издание романа расходилось очень быстро. Говоря нынешним языком, "Братья Карамазовы" в 1879-1881 гг. были "бестселлером".

Племянник писателя, Андрей Андреевич Достоевский, писал в начале декабря 1880 г. своему отцу: "Вчера Федор Михайлович передал мне для пересылки вам "Братьев Карамазовых", вышедших на днях отдельным изданием. Так как вы уже этих братьев прочитали в "Русском вестнике", то я с вашего позволения придерживаю их у себя для прочтения... Расходится роман очень быстро: уже продано на три тысячи (в четыре дня); все же издание в четыре тысячи экземпляров обошлось в четыре тысячи рублей, так что скоро книга будет продаваться в чистый барыш. Анна Григорьевна рассчитывает получить чистого барыша десять тысяч рублей — конечно, если все издание будет распродано..." ("Литературное наследство", т. 86, с. 524).

В 1879 г. роман "Братья Карамазовы" публиковался ежемесячно с начала года до 11-й книжки "Русского вестника". Пропушены были для романа 3, 7 и 12-я книжки по просьбе самого Достоевского, а не из-за "мошенничества Каткова", как думали некоторые нетерпеливые читатели. Были опубликованы в том году страницы призведения от начала и до девятой книги третьей части романа.

В 1880 г. "Карамазовы" были закончены; им в "Русском вестнике" были отведены 1, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 книги журнала. В декабре того же года Достоевский выпустил в двух томах отдельное издание "Братьев Карамазовых". В первом томе были помещены первая и вторая книги романа, а во втором — третья и четвертая с эпилогом. Год издания был указан — 1881-й. В этом издании сделаны только небольшие стилистические исправления. Оно легло в основу всех последующих изданий "Братьев Карамазовых". Наборная рукопись "Карамазовых" не использовалась для последующих изданий, так как ее не удалось найти, а может быть, на первых порах и не искали. Анна Григорьевна Достоевская, которая ею владела, сообщала, что ей удалось сохранить в полном порядке рукопись "Братьев Карамазовых", в ней не было пропусков. К этим словам она добавила, "Карамазовы" почти не имеют вариантов с напечатанным текстом.

В 10-томном собрании сочинений Достоевского, изданном в 1956-58 гг., текст романа воспроизведен по изданию 1881 г. с исправлением опечаток и ошибок по журнальной публикации. И

в 14-15 томах нынешнего полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского "текст романа печатается по тому же изданию 1881 (вернее 1880 г.) с устранением явных опечаток и с некоторыми исправлениями по "Русскому вестнику" и сохранившейся части наборной рукописи — начала и конца главы ІХ-й книги девятой". Самой наборной рукописи главная редакция полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского не имела, a рукописные материалы были с пробелами. Поэтому редакция "пользуется настоящим случаем, чтобы напомнить о необхопродолжить различных странах В материалов, а также обращается ко всем лицам, которым могут быть известны места их хранения или их судьба, с просьбой сообщить имеющиеся в распоряжении указанных лиц сведения". Упоминание "о необходимости продолжить в различных странах поиски" сделано в связи с тем, что еще в 1966 г. И. С. Зильберштейн с этой целью ездил во Францию. О его попытке набрести на следы рукописи мы расскажем позже. Сейчас коснемся истории рукописных материалов, обнаруженных автографов Достоевского, касающихся романа "Братья Карамазовы".

В предисловии к опубликованным в 1922 г. в мюнхенском издательстве "Орхис" трем ранее не печатавшимся главам из романа "Бесы" — "Исповедь Ставрогина", Василий Леонидович Комарович сообщает: "12 ноября 1921 г. B Московского центрархива в присутствии А. В. Луначарского и других лиц был вскрыт ящик с бумагами, принадлежавшими Достоевскому..." находились Среди бумаг И рукописные материалы к работе Достоевского "Карамазовыми". Материалы эти были изучены В. Комаровичем и легли в основу его капитального труда, который, к сожалению, впервые был опубликован на немецком языке в 1928 г. в издательстве К. Пипер. Труд В. Л. Комаровича вышел под названием: "Die ürgestalt des Brüder Karamasoff", K. Piper, München, 1928, 621 S. Обстоятельная вступительная статья "Достоевский и отцеубийство" принадлежит перу Зигмунда Фрейда (с. IX-XXXVI). На русском языке работа Комаровича ни разу не публиковалась.

В. Л. Комарович изучал рукописные материалы "Братьев Карамазовых", хранившиеся в Институте русской литературы

(Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ученый полагал, что сохранившиеся материалы более позднего происхождения, а не первичные наброски. Среди имевшихся материалов нет никаких бросавшихся в глаза изменений авторской концепции, никаких композиционных перестановок, какие делал, например, Достоевский в отношении "Бесов". Основа будущего романа уже отчетливо выявилась, все персонажи с присущими им характеристиками были уже расставлены по своим местам.

Выводы Комаровича подверждались литературоведами, рукописями после трудившимися него над Карамазовых". В предисловии к сборнику "Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования", изданному под редакцией А. С. Долинина Институтом русской литературы АН СССР в 1935 г. (серия — "Литературный архив"), сказано о сохранившихся черновых записях к роману следующее: "В первом отделе (сборника) главное место занимают тексты черновых записей к "Братьям Карамазовым". Это не первоначальные произведения, только что задуманного; не первые наброски туманных еще идей, "беспорядочно громоздящихся друг на друга", или зачаточные характеристики персонажей, роль которых в развитии сюжета, еще колеблющегося, едва-едва намечается. Здесь все герои расставлены по своим местам; сюжетная концепция романа определилась четко, как и основной узел идей, в нем проводимых. Короче говоря: это та стадия работы художника, самая главная, когда период "замысла" закончен, роман уже "пишется", — мы у грани связной редакции, либо присутствуем при первом ее составлении. Поэтому уже здесь, в этих черновых записях, так четки границы между будущими отдельными книгами. Или еще вернее: перед нами, в подавляющем большинстве их, записи к каждой отдельной книге, сделанные непосредственно перед тем, как писать ее. Черновики, таким образом, объемлют всю работу художника в течение всех трех лет, в которые роман созидался".

Словом, черновики, в которых уже проглядывал во всей своей грандиозности самый гениальный роман Достоевского, сохранились, хоть и не во всей их полноте, а вот автографа Федора Михайловича, т. е. самой наборной рукописи нет, не разыскана, и, по-видимому, редакция нынешнего собрания

сочинений даже исключает возможность найти ее в самой стране и все надежды возлагает на поиски в зарубежьи.

Что наборная рукопись после смерти писателя хранилась у его вдовы, Анны Григорьевны Достоевской, свидетельствует запись в ее "завещательной тетради", озаглавленная — "На случай моей смерти или тяжелой болезни":

"Внуку моему, Федику, я подарила на память о его дедушке полный экземпляр рукописи романа "Братья Карамазовы" (первый том 439 страниц и второй том 465 страниц). Оба тома переплетены (вес обоих более 12 фунтов). Внесены на хранение в Госуд. банк 17 февраля 1907 г. по расписке № 1 030823. Расписка эта отослана на хранение Екатерине Петровне (Достоевской)...".

Эти слова в печати несколько раз воспроизводились и только в 1977 г. Л. Ланский отметил и дополнение к этим словам. Он пишет, что эта дарственная надпись вызвала протест сына Анны Григорьевны, "и в тетради появились дополнительные строки: "Рукопись эта, по разъяснению Федора Федоровича, принадлежит ему, как главному наследнику прав на сочинения его отца".

До передачи в банк рукописи, она выставлялась для обозрения в "Комнате Достоевского" в Московском историческом музее. Как пишет Л. Ланский, 4 января 1901 г. в газете "Новое время" была помещена заметка Ив. Забрежнева под названием "Реликвии Достоевского". Автор писал: "Рукописи заперты в шкафах, но некоторые, как видите, "для образца" лежат в витринах. В двух витринах раскрыты черновики различных годов "Дневника писателя". Переплетенные рукописи неодинакового формата. Почерк... значительно разнится в обеих рукописях. Но в общем очень разборчив и читается легко. Опятьтаки иным почерком писана предсмертная работа "Братья Карамазовы". Последняя рукопись составляет несколько томов, переплетенных в черную кожу. Один том изогнут на конце VII главы 10-й книги — "Мальчики" (четвертая часть романа). Черновая "Карамазовых" писана более мелким почерком, чем Обыкновенная нелинованная писчая большого формата. Треть страницы оставлена для поправок. Выноски и поправки делались при помощи обычных корректурных знаков. Вероятно, в первоначальном своем виде рукопись

состояла из отдельных ничем не скрепленных листов".

Можно с полной уверенностью утверждать, что до самой революции рукопись "Карамазовых" продолжала находиться в Госбанке в Петербурге. Никто из членов семьи Достоевских не пытался извлечь из банковского сейфа рукописи писателя — ни сама Анна Григорьевна, ни сын писателя, Федор Федорович, ни его жена Екатерина Петровна, урожденная Цугаловская, на чье имя была выдана расписка.

И. С. Зильберштейн высказал предположение, что рукопись оказалась на руках у Е. П. Достоевской, которая могла вывезти ее за границу. В итоге своей поездки во Францию в 1966 г., опубликованном в 86-м томе "Литературного наследства", Зильберштейн высказывает такую догадку: "... Е. П. Достоевская — жена сына писателя и мать его внука Федика, к которой Григорьевна относилась исключительно скончалась совсем недавно, в 1959 г. во Франции, куда она переехала из Крыма, где жила до последнего года Великой Отечественной войны. После ее смерти в пансионате для престарелых русских эмигрантов в Ментоне, по ходатайству московского музея Ф. М. Достоевского было прислано, как утверждают, всё оставшееся от нее, но там кроме домашних вещей оказались лишь рисунки ее старшего сына Федика. Получила ли в Государственном банке Е. П. Достоевская по имевшейся у нее расписке рукопись "Братьев Карамазовых" неизвестно. Но получить могла. (...) К тому же эту рукопись, никто не передавал Федику, как того желала Анна Григорьевна, — он умер в 1921 г. (19 октября), в шестнадцатилетнем возрасте. А если рукопись "Братьев Карамазовых" была получена из Государственного банка Е. П. Достоевской, то не взяла ли она ее с собой, когда после изгнания из Крыма оккупантов навсегда покинула родину? Могло быть и так: рукопись "Братьев Карамазовых", безусловно находившуюся вне того сейфа, где Анна Григорьевна хранила множество записных книжек и бумаг Достоевского, затем в 1921 г. поступивших в Центрархив, мог присвоить в бурные дни Октябрьской революции один из высших чиновников Государственного банка, — известны случаи, когда они изымали оттуда для отправки за границу различные ценности. Но так как нет точных данных о судьбе

рукописи "Братьев Карамазовых" после 1917 г., остается верить, что она не погибла и будет обнаружена".

В полемическом тоне И. Зильберштейн отвергает версию, что эта рукопись была у С. Цвейга: "Не зная того, что существует письмо Стефана Цвейга, к тому же опубликованное в нашей печати дважды — в 1958 и 1960 гг., где прямо говорится об имеющейся у него лишь одной рукописи Достоевского двух глав "Униженных и оскорбленных", не зная и статьи Цвейга в журнале "Philobiblon", где говорится о принадлежавшей затем писателю рукописи трех глав этого романа, Б. И. Бурсов привел завещательную надпись А. Г. Достоевской (не говоря о том, что она впервые напечатана В. С. Нечаевой) и далее напечатал явно рукописи судьбе апокрифические сведения 0 Карамазовых", сообщенные Андреем Федоровичем Достоевским, младшим внуком писателя: будто в 20-х годах ее "купил за баснословную цену немецкий писатель Стефан Цвейг, который после захвата власти Гитлером уехал в Аргентину... Правда, Б.И. Бурсов называет это сообщение легендой. Но зачем распространять безусловно неверные сведения?.."

К сожалению, Бурсов опубликовал свою статью в 1970 г., когда внука писателя уже не было в живых, почему нельзя было выяснить источник его информации о продаже рукописи Цвейгу. Во всяком случае, эта версия была известна Е. Достоевской и, следовательно, была в ходу в некоторых кругах. На этом вопросе мы остановимся несколько позже, а сейчас мы должны исправить некоторые фактические ошибки и хронологические неточности Зильберштейна.

Екатерина Петровна Достоевская скончалась в 84-летнем возрасте после тяжелой и продолжительной болезни 3 мая 1958 г. (а не в 1959 г.). Через одиннадцать дней вслед за ней умирает в 88-летнем возрасте ее сестра — Нина Петровна, в замужестве Фальц-Фейн. Сестры вынуждены были покинуть Крым 26 сентября 1943 г. (а не в конце войны), когда немецкое командование начало вывозить оттуда местных немцев (фольксдейтч).

Чтобы показать, какое отношение имела Е. Достоевская к рукописям и документам семьи Достоевских, нам придется обратиться к неопубликованной частной и интимной переписке Екатерины Достоевской и Нины Фальц-Фейн. В 1914 г., как и в

предыдущие годы, Екатрина Петровна с двумя малолетними сыновьями — с восьмилятним Федей и шестилетним Андрюшей, — выехала на лето в Скадовск на Черном море. Сюда, в имение Сергея Бальтазаровиче Скадовскогс, съезжалась многочисленная родня. Дочь Нины Петровны, Ольга Александровна, урожденная Фальц-Фейн была замужем за Львом Сергеевичем Скадовским, сыном владельца имения. С нею была и ее бабушка Цугаловская.

Война вспыхнувшая в 1914 г. застала хозяев и гостей в Скадовске. По каким-ю причинам, вероятно потому, что Екатерина Петровна счатала, что в провинции теперь легче прожить, она осталась в Скадовске и не вернулась в Петербург, где была ее постоянная квартира. Тем более на решение повлияло то, что ее мук Федор Федорович был все время в разъездах в связи с поставками армии. Так или иначе, Екатерина Достоевская оставаласі В Скадовске все голы задержалась и на годи революции и начала гражданской войны.

Жизнь здесь была нілегкой в эти годы, была она и небезопасной из-за частой омены властей, особенно для представителей бывших имуцих классов, какими были Скадовские, Фальц-Фейны и их родственники.

В феврале 1917 г. пала монархия. Недолго продержалось Временное правительстве. 30 января 1918 г. в Скадовске была провозглашена советскаявласть, но уже в апреле 1918 г. в город австро-немещие оккупационные войска. городскую власть номинально представляли гетманцы, которым пришлось исчезнуть вместе с отходом оккупационной армии в конце 1918 г. К власти снова пришли большевики. В январе 1919 г. порт Скадовск временю захватил греческий десант. В конце марта этого года Красіая армия восстанавливает советскую власть в Скадовске. Ревюм возглавил коммунист, самобытный художник Н. Андриец, который выдал семье Достоевских охранное удостоверение, как "представителям рода знаменитого писателя", о чем будет сказано в дальнейшем. В апреле-мае произошло неудавшееся восстание социал-революционеров, большевистская власть удержалась.

Выданная Екатерите Петровне "охранная грамота"

оставалась малозначущей бумажкой. В 1919-20 гг. Скадовск все время находился в прифронтовой полосе и жизнь в нем никак для Достоевских не была безопасной. В июле 1919 г. город был занят частями Белой армии и деникинская власть продержалась до января 1920 г., после чего еще раз устанавливается советская власть. 7 июля 1920 г. в Скадовске высадился десант врангелевских военных частей, которые владели портовым городом до октября 1920 г. Белая армия откатывается в Крым. Е. Достоевской и Н. Фальц-Фейн уже было невозможно оставаться в Скадовске. К этому времени умерла их мать. Похоронив ее в Скадовске, Екатерина Петровна с детьми и сестрой, с вещами на трех подводах, в ужасных условиях отступления разбитой армии, проделали путь в 250 км, отделявших Скадовск от Симферополя, куда направились сестры.

Любопытная формулировка "охранной грамоты", которую впоследствии Андрей Достоевский передал Московскому музеюквартире Ф. М. Достоевского. Удостоверение № 626 выдано 5 мая 1919 г. исполкомом г. Скадовска за подписью председателя ревкома М. Андриеца: "Дворянка Екатерина Петровна Достоевская является женой Федора Федоровича Достоевского — сына знаменитого русского писателя Федора Михайловича, старого революционера, арестованного в 1849 г. при царе Николае Павловиче за "злоумышленное" выступление против государственно-исторического строя, вместе с другими революционерами и был приговорен к смертной казни через расстреляние. Уже на эшафоте, когда подали команду стрелять — приговор был смягчен. Федор Михайлович Достоевский получил четыре года каторги. А в 1881 г. 26 января он умер и унес с собою защитника обездоленных, но оставив нам свои неоцененные труды для дальнейшего перевоспитания человечества. Глубоко уважая память товарища Ф. М. Достоевского, просим не стеснять его прямых родственников, внуков, отпрысков борца за свободу человечества".

Но перейдем к дальнейшей судьбе Е. Достоевской, после ее отъезда из Скадовска. Сестры, приехав в Симферополь, поселились в доме, ранее принадлежавшем Абрикосову. В этом доме и в той же самой квартире сестры прожили 22 года, до полувынужденной эмиграции за рубеж родины.

Когда жизнь в стране более или менее нормализовалась, Екатерина Петровна стала преподавать английский и французский языки, а Нина Петровна поступила библиотекарем в научно-исследовательский институт пищевой промышленности, а последние 12 лет жизни на родине работала в Институте по защите растений.

В октябре 1921 г. умирает Федик, а затем в декабре месяце и его отец, Федор Федорович Достоевский, который последние годы жил отдельно от семьи. В 1918 г. в разгар гражданской войны он из Москвы пробрался в Крым, чтобы предать земле тело своей матери, скончавшейся 9 июня 1918 г. в Ялте. С большими трудностями Федор Федорович выбрался обратно в Москву, где вскорости заболел и, оставшись без врачебной помощи, умер 23 декабря 1921 г. Его с почетом похоронили за счет Московского исторического музея, в котором собирались материалы о жизни и творчестве его отца, Ф. М. Достоевского.

В середине двадцатых годов его единственный, оставшийся в живых сын Андрей заканчивает симферопольскую среднюю школу и поступает в Донецкий политехнический институт в Новочеркасске, откуда в 1930 г. переводится в Ленинградский политехнический институт. С тех пор он уже живет самостоятельно, по-видимому, регулярно посещая на каникулах свою мать в Симферополе.

После отъезда Андрея Федоровича для завершения своего образования из Симферополя, его мать с сестрой остаются одни, без каких-либо родственников в этом городе. Единственная дочь Нины (Анны) Петровны с времен гражданской войны очутилась за рубежом. Ольга Александровна делала попытку в двадцатых годах через Красный крест добиться разрешения на выезд матери к ней в Париж. Попытки были безрезультатны и Нина Петровна так и оставалась на родине.

У нас нет сведений, наведывалась ли Екатерина Петровна или Нина Петровна в Ленинград, пыталась ли Достоевская узнать судьбу принадлежавших семье вещей, обстановки и семейного архива. Однако на основании письма-исповеди Нины Петровны и переписки Екатерины Петровны с немецкими друзьями можно твердо установить, что Е. П. Достоевская никогда не имела на руках наборной рукописи "Братьев

Карамазовых", хотя какие-то другие рукописные материалы хранились у нее, вероятно, когда еще она жила совместно с свекровью, вдовой Достоевского, Анной Григорьевной.

Петровна, возобновившая Екатерина мюнхенским издателем сочинений Достоевского К. Пипером, отец которого в 1928 г. издал капитальный труд Комаровича, "Прообразы 'Братьев Карамазовых' ", в котором впервые были использованы архивные материалы вдовы Федора Михайловича. В приписке к письму, написанному ее сестрой 28 июля 1948 г., Екатерина Петровна, выражая сочувствие издателю в связи с возможным ущербом для него от ожидавшейся денежной реформы, писала: "Милостивый государь г-н Пипер, никто как мы не может представить себе и выразить сочувствие вам, дорогому нашему другу, и от всего сердца сказать: "Мы стали совсем бедными, как нищие на улице: в один день все потерять, не только золото и драгоценности в банке, но еще и быть выброшенными на улицу из квартиры! Потерять единственные в своем роде рукописи Достоевского, его библиотеку с десятью тысячами книг и т. д. и т. д. Но я не потеряла мужества в мои 73 года, и не желаю, чтобы ненависть меня угнетала... Мужество потерять — все потерять (...) Сердечно Ваша, Екатерина Петровна фон Достоевская" (перевод с немецкого).

В письме, по-видимому, упоминается не только потеря квартиры с ее обстановкой, книгами и прочим имуществом, но также и пропажа всего, что хранилось в банковских сейфах, в том числе и рукописные и прочие материалы писателя и его вдовы. А Нина Петровна в исповедальном письме от 1-14 февраля 1950 г., посланном Г. Ш., дополняет картину разорения семьи Достоевских и их ближайших родственников. "Когда Ольга (ее дочь) выходила замуж, я отдала ей все мои драгоценности. Остальное все что я имела — хранилось в петербургском Госбанке. У моей сестры не только ценности, но, особенно — манускрипты. Еще в царское время американцы хотели за сто тысяч долларов приобрести рукопись "Братьев Карамазовых". Достоевский был слишком великий русский патриот, чтобы выпустить из России рукопись. Разумеется все сейфы были вскрыты и всё, что не было выкрадено ранее, впоследствии было изъято государственными комиссиями. Мы

узнали, что австрийский писатель Стефан Цвейг приобрел рукопись "Братьев Карамазовых" за 150 тысяч рублей. Он в Буэнос-Айресе покончил жизнь самоубийством вместе с женой, а где находится рукопись, никто не знает".

Из сообщений сестер прежде всего вытекает, что у них на руках никогда не было этой рукописи и, следовательно, они не могли вывезти ее за границу при их эмиграции. Очевидно, что правительственная комиссия, работавшая под руководством А.В Луначарского, никого из членов семьи Достоевских не пригласила для вскрытия сейфа с архивом Федора Михайловича и Анны Григорьевны. А они могли бы указать членам комиссии, хранилась отдельно рукопись банке Карамазовых". Не исключена возможность, что еще задолго до работы правительственной комиссии, часть сейфов была вскрыта с целью наживы. Попавшие в руки злоумышленников два тома рукописи никакой ценности для них не представляли. Разве что можно было срезать кожу с переплетов. А это в те дни было не редкостью.

революции Екатерина Накануне Петровна Петрограде вместе с свекровью. В их отсутствие в 1918 г., может быть чуть позже, квартира была реквизирована, обстановка и другое имущество, включая библиотеку, было утеряно, частично конфисковано, частично расхищено. Кое-что, ничтожная часть утерянного имущества впоследствии была разыскана. Об этом можно судить по тому, что Андрей Федорович, разошедшись со своей первой женой, оставил ей свою квартиру, в которой находилась и мебель, принадлежавшая его деду. После смерти внука Федора Михайловича, сын его первой жены Дмитрий Андреевич Достоевский передал в 1971 г. в музей-квартиру Ф. М. часть обстановки, принадлежавшей Михайловичу и Анне Григорьевне — шкаф, комод, секретер, зеркало.

Каким-то путем Андрею Достоевскому удалось сохранить или получить от родственников посмертную маску Федора Михайловича, снятую скульптуром Л. Бернштамом, и кое-какую мелочь, не имевшую мемориальной ценности.

Покидая родину, Екатерина Петровна и Нина Петровна имели с собой несколько чемоданов, в которых было не мало

материалов, семейных фотографий, альбомов, снимков и даже картины. Значительная часть багажа с наиболее ценными архивными материалами и семейными реликвиями пропала при переезде из Лодзи в Германию. Когда Андрей начал хлопотать о получении материнского Достоевский имущества после смерти Екатерины Петровны, он сообщил, ехавшему в Париж проф. Б. И. Бурсову, что в вещах матери могли оказаться следующие материалы: "записи Екатерины Петровны об Анне Григорьевне, которые она начала вести в 1912-1913 гг. и со слов которой мать записала некоторые эпизоды из жизни Федора Михайловича; наброски мотивированных возражений на некоторые данные в книге М. Волоцкого Достоевского", "дело" рода самозванной Достоевской-Щукиной; значительная часть деловой переписки, Екатерина Петровна вела В советские различными известными лицами (A. Бемом, парижским издателем Достоевского — Пейо, мюнхенским издателем К. Пипером и др.).

Рукопись "Братьев Карамазовых" не упоминалась в списке, что служит еще одним доказательством, что невестка писателя не имела и не могла вывезти за границу пресловутую наборную рукопись "Братьев Карамазовых".

Мы еще не упомянули имени Анны Григорьевны, как потенциального держателя рукописи "Карамазовых": не взяла ли она ее с собой на юг, когда ехала в свое имение на Северном Кавказе? Эту версию надо откинуть. Во-первых, у нее не было расписки, по которой ей могли бы выдать из сейфа рукопись. Вовторых, если бы она могла как-то получить из сейфа рукопись, этом она бы известила невестку. В-третьих, трудно предположить, чтобы в мае 1917 г., в самый разгар революционной неразберихи, в хаосе на железных дорогах, в вагонах, переполненных дезертирами, мешочниками и устремившимися на юг горожанами, больная 70-летняя старуха могла везти в ручном багаже помимо немногих ценных вещей и носильного платья еще двенадцатифунтовую рукопись, да не одну, а среди других бумаг и необходимых документов, как на этом настаивает некий Б. Челышев, автор книги "В поисках пропавших рукописей" (изд. "Просвещение", 1974). Автор пишет: "В 1917 г. Анна Григорьевна увезла с собой в Крым много бумаг Достоевского, но, когда она через год умерла в Ялте, рукописи эти растащили. Кто? До сих пор неизвестно. Не исключена возможность, что и сейчас они пылятся где-нибудь на чердаках или лежат без движения в старых шкафах".

Как мы уже писали, Анна Григорьевна Достоевская выехала из Петрограда не в Крым, а на Кавказ, где между Адлером и Туапсе у нее было имение. Отсидеться здесь, в тиши, от взбудораженной революцией столицы ей, увы, не удалось. "Летом 1917 г. из армии вернулся (вернее — дезертировал, прим.), служивший в имении дворник и повел энергичную агитацию за устранение "хозяйки". Дело было поведено таким образом, что А. Г. пришлось спешно оттуда убраться" (3. О. Ковригина, "Последние месяцы жизни А. Г. Достоевской", сб. 2 "Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы", 1924).

В конце августа или в самом начале сентября 1917 г. Анна Григорьевна, измученная тяжелыми приступами малярии, бежавшая в чем была из имения, пробралась в Крым, где тогда было еще относительно спокойно и где в Ялте у нее было пристанище. Здесь ей пришлось вести почти нищенское, голодное существование вдали от родных. Никаких архивных материалов у нее не могло быть, кроме дневниковых записей. А если бы и были, то об этом знала бы Ковригина, проведшая вместе с Анной Григорьевной последние дни ее жизни, — с сентября 1917 г. по 9 июня 1918 г. Встречались они почти ежедневно, беседы велись на самые разные темы, "иногда Достоевская читала дневников, которые отрывки из своих создавали представление об единстве и непрерывности жизни А. Г., посвященной сплошному служению своему мужу".

На могилу Анны Григорьевны вероятно наведывалась ее невестка, а подросший Андрей не раз посещал кладбище в Ялте, где была похоронена его бабка и, конечно, знал, где в этом городе жила она, и что осталось из ее имущества.

Я исключаю возможность, что кто-то из бывших чиновников, имевших доступ к сейфам Государственного банка в Петрограде польстился на толстенные тома "Братьев Карамазовых" и тайно вынес из банка тяжелый тюк. Проще было извлечь из сейфов золото и драгоценности.

Национализацией вкладов банков в советское занимались лица, далекие от литературы и библиофильства. При вскрытии сейфов, всякие бумажки, тетрадки, блокноты и т. п. сваливались в кучу и потом выметались из помещения. Правда, рукопись была в отличных кожаных переплетах, а кожа тогда ценилась и кто-нибудь из мелких служащих мог срезать переплеты, а бумага пошла на обертку продуктов на базаре. Кто этого не видел в годы революции? Если бы какой-нибудь книголюб или букинист натолкнулся где-нибудь на остатки поврежденная рукопись "Братьев рукописи, то целая или бы найдена, продана и обнародована Карамазовых" была впоследствии. Этого не произошло.

Я отвергаю и предположение, что А. В. Луначарский, зная, что в сейфах помимо архива Ф. М. и А. Г. Достоевских имелась отдельно лежавшая рукопись на имя Е. П. Достоевской, потребовал бы ее и до внесения в список архивных материалов взял себе для просмотра. Если бы это имело место, то рукопись уже давно была бы обнаружена в его личном архиве.

Мне не попадались сведения о том, кто, когда передал или продал Стефану Цвейгу упомянутые нами ранее части рукописи "Униженных и оскорбленных". Весьма вероятно, что в 1928 г., когда Цвейг был приглашен на столетний юбилей Льва Толстого в Москву советским правительством, ему подарили эти фрагменты романа Достоевского. Но может быть и не так.

Все, что мы здесь писали о судьбе наборной рукописи, единственного автографа "Братьев Карамазовых", ведет к печальному выводу, что этот творческий документ великого писателя утрачен навсегда.

А. Иванов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ОТЕЦ ГЕОРГИЙ ФЛОРОВСКИЙ

Митрофорный протоиерей Георгий Васильевич Флоровский скончался в Принстоне, Нью Джерси, 11 августа 1979 года. Родился он 28 августа 1893 года в Одессе, четвертым и самым младшим сыном в семье православного священника Василия Антоновича Флоровского И его жены Клавлии Георгиевны, дочери протоиерея Георгия Ивановича Попруженко (магистра Киевской Духовной Академии и профессора еврейдревнегреческого языков В Олесской Семинарии, а одно время — ее ректора и настоятеля Одесского Кафедрального Собора).

году Георгий Флоровский окончил с золотой медалью классическую гимназию в Одессе и был принят на историко-филологический факультет Новороссийского Университета, прослушал ряд курсов ПО где математике, физике, химии. Иван Петрович Павлов представил его экспериментальную работу по физиологии слюноотделения в Академию Наук и она появилась в Записках Академии в январе 1917 г. В 1913 г. Флоровский был награжден серебряной медалью по классической филологии и сравнительной литературе за работу "Миф об Амфитрионе в древней и новой драме". В 1916 г. он получил награду в области логики за "Критический обзор современных учений об умозаключениях". Освобожденный от писания диссертации, он окончил университет в 1916 г. и стал научным сотрудником в своей alma mater в течение трех лет; сдал экзамен на степень магистра философии и читал лекции по

философии в качестве приват-доцента целый академический год 1919/20.

Как многие русские ученые Г. В. покинул Россию во время Гражданской войны. В январе 1920 г. вместе с родителями он поселился в Софии. Здесь он сошелся с группой писателей и философов — евразийцев. Флоровский внес свой вклад в это движение, утверждая, что для выздоровления нации необходимо религиозное возрождение и возврат к византийскому наследству. Но его сотрудничество с евразийцами обрывается в 1923 г. и в 1928 г. он напечатал в "Современных Записках" (Париж) резкую критику движения — "Евразийский соблазн".

Из Болгарии Флоровский переехал в Чехословакию, где в 1921 году был избран в состав Русской Учебной Коллегии в Праге. Здесь он читал лекции по философии права на русском Юридическом факультете (1922-1926). 27 апреля 1922 г. он женился на Ксении Ивановне Симоновой, бывшей студентке Бестужевских Высших женских курсов и дочери русского педагога в Финляндии. (Ксения Ивановна умерла 5 ноября 1977 года). В 1923 г. после успешной защиты диссертации "Историческая философия Герцена" Флоровский получил звание магистра философии от Русской Академической Группы в Праге, которая работала под покровительством Международного Союза Русских Ученых за рубежом. Его оппонентами были В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский и П. Б. Струве.

В 1926 г. Г. В. покинул Прагу, переехав в Париж, где он был избран на кафедру патристики в только что основанном Православном Богословском институте. С 1926 по 1948 год Флоровский читает лекции по философии, гомилетике, истории Церкви и систематическому богословию, а после смерти (в 1944 г.) отца Сергия Булгакова читает лекции и по догматике.

Экуменическая карьера отца Георгия началась в Париже в 1926 году, когда он присоединился к экуменическим дискуссиям между последователями англиканской, протестантской, римско-католической и православной церквей, начатым по инициативе Николая Бердяева. В этих неофициальных диалогах принимали участие такие блестящие богословы и философы, как Бердяев, Бёгнер, Булгаков, Жилсон, Габриэль Марсель и Маритэн. В Америке Флоровский продолжал этот обмен мнений в

Флордхэмском университете со многими учеными, которые позднее составили постоянно действующую Православно-Римско-католическую двустороннюю комиссию. Он писал: "Экуменическая работа весьма сложна, хотя и великая в перспективе. Расхождения здесь разнообразны, глубоки и радикальны. И нет возможности для какого-либо компромисса. И это должно встретить искренне и мужественно, без замалчивания и уверток, но с доверием и истиной. Реальные разногласия глубоки. Необходимо избегать резких разрывов и элементарных путей. Надо иметь достаточно мужества, чтобы взглянуть в глаза трагедии христианства".

С 1928 г. отец Георгий принимает участие во встречах и дискуссиях между Православной и Англиканской церквами, которые были организованы Содружеством св. Албана и св. Сергия. В 1928—1939 годах он был одним из главных докладчиков на ежегодных конференциях Содружества, являясь одновременно одним из его вице-президентов. Его каноническое начальство позволило ему прочесть лекции в богословских колледжах Англиканской церкви в Великобритании и Ирландии — с 1933 по 1939 год. Он прочел также в 1930 году в Софии доклад об иконографии Софии, интерес к которой сохранил до конца своих дней. В следующем году он участвовал в съезде Студенческого Христианского Движения в Латвии.

В апреле 1932 года митрополит Евлогий (Георгиевский, 1868-1946) посвятил дьякона Георгия в священники в церкви святого Сергия. Экзарх Вселенского Патриархата для Западной Европы, облёк отца Георгия в сан протоиерея в 1936 г. и десятилетие спустя наградил его митрой. Тридцатые годы стали самым активным периодом жизни о. Георгия, когда его влияние и репутация достигли международного признания.

Он опубликовал две главные работы: "Восточные Отцы IV-го века" (1931) и "Византийские Отцы V-VIII веков" (1933), а в "Православной мысли" два из трех исследований: "Тварь и тварность" (вып. 1, 1928), "О смерти крестной" (вып. 2, 1930) и "Мистицизм и Литургия" (не опубликовано). Написанная в 1937 г. работа "Пути русского богословия" — глубокое осмысление русской интеллектуальной истории, которую, по словам одного ученого, Флоровский охарактеризовал как схизму русской души

с такой внезапной ясностью, как если бы степь внезапно была освещена молнией. Эта работа переведена на английский (под руководством отца Георгия) Томасом Бердом, Эндрю Блейном, Алексеем Климовым и Машей Воробьевой и будет вскоре опубликована в Нордланд Пресс. В 1936 г. о. Георгий представил на рассмотрение Православного института в Париже и Международного конгресса богословов в Афинах доклады на несколько тем, среди которых — "Западное влияние в русском богословии" и "Патристика и современное богословие". Позже он прочел три лекции о догмате Искупления в Кингз Колледже в Лондоне. Весной 1938 года он получил возможность покинуть институт, чтобы вместе с Антоном Карташевым продолжать исследования в Афинах и в библиотеках на горе Афон.

Позднее в тридцатые годы отец Георгий играет все более активную роль в экуменических и пан-православных дискуссиях. На Второй Конференции "Вера и Устройство Церкви" в Эдинбурге Флоровский был избран в "Комитет 14" для подготовки Всемирного Совета Церквей, а в 1938 году он становится членом Подготовительного Комитета Потрясения войны вынудили Флоровских к переездам: в Женеву, Белград и Прагу. Затем на короткий срок обратно в Париж, где он возобновляет преподавание нравственного и догматического богословия в Богословском институте. В 1947 году Флоровский читает серию лекций в Оксфорде, а вскоре участвует в первой учредительной ассамблее Всемирного Совета Церквей Амстердаме, откуда едет в Боссей (Швейцария) и читает там серию лекций что основанном Экуменическом только институте.

В 1948 году отец Георгий вместе с Ксенией Ивановной отправляется в США, где оба спустя 6 лет становятся натурализованными американскими гражданами. Здесь Митрополит Леонтий (Туркевич, 1876-1965) приглашает его занять пост главы богословской кафедры в Православной Духовной Семинарии св. Владимира. В течение 1948/49 учебного года он читает лекции в Юнян Духовной Семинарии в Нью-Йорке, в Епископальной Богословской Школе в Кембридже и в Эндовер-Ньютан Духовной Семинарии.

С 1948 по 1955 год, будучи профессором богословия Духов-

ной семинарии св. Владимира, Флоровский одновременно являлся адъюнкт-профессором истории и богословия Восточной Церкви в Юнян Духовной Семинарии, а также адъюнкт-профессором религии в Колумбийском университете. Несмотря на такую занятость, Флоровский тем не менее основал в 1952 году "Ежеквартальник Семинарии св. Владимира", который редактировал вплоть до 1956 года. В 1950 году митрополит Леонтий назначил его деканом Духовной Семинарии св. Владимира пост, который он занимал в течение пяти лет. В это же время он читал лекции в Колумбийском университете, в Бостонском университете и в Греко-Православной школе им. св. Креста в Бруклайне, штат Массачусеттс. А в 1956 году был назначен профессором истории Восточной Церкви в Богословской школе Гарвардского университета. За время этой восьмилетней работы он прочел несколько разнообразных курсов, включая такие, как История христианской доктрины, История христианского богослужения (особенно в Древней Церкви), История восточной духовности, История славянских церквей и годичный семинар по проблемам Патристики. В добавление к его расписанию в Гарвардской Богословской школе, отец Георгий ежегодно с 1961 по 1964 год вел семинар об идеологических тенденциях русской литературы на кафедре славянских языков и литератур в Гарварде. После своего ухода на пенсию в 1974 году с почетным званием Заслуженного профессора, он становится приглашенным профессором истории, религии и славянских исследований в Гарварде и приглашенным членом Совета по гуманитарным наукам в Принстонском университете — оба поста сохранялись за ним до самой его кончины. С 1973 по 1979 год он был также приглашенным профессором в Принстонской Духовной Семинарии.

Несмотря на разнообразные академические занятия, отец Георгий продолжал свою пастырскую и духовную деятельность как священник православных приходов в Бостоне, Нью-Йорке и Трэнтоне. Его преданность Божественной Литургии напоминает нам слова одного из Псалмов Давида: "Ревность по доме Твоем снедает меня" (Псал. 68, 10). Живя в Манхеттене, он был первым капелланом для православных студентов в Колумбийском университете.

По словам Н.О. Лосского, "самый православный из современных русских философов", Флоровский внес серьезный вклад в такие различные области, как литература, экклезиология, богословие, история русской религиозной мысли. удивительно, что за 40 лет семь ведущих научных институтов увенчали его почетными докторскими званиями: Университет святого Андрея в Эдинбурге (1937), Бостонский университет (1950), Университет в Салониках (1959), Университет Нотр Дам (1966), Духовная Академия святого Владимира (1968), Йельский университет (1973), Принстонский университет (1974). Своими научными и литературными работами о. Георгий заслужил премию Американской Академии Искусств и Наук (1965), Академии в Афинах (тот же год; вместе с кардиналом Августином Бэа и доктором Альбертом Швейцером) и Британской Академии (1977). В марте 1971 года Американская Ассоциация развития славянских исследований присудила ему премию за выдающийся вклад в славянские исследования.

Отец Георгий много читал лекций в колледжах и университетах Канады, США и Европы. Руководя дипломными работами и диссертациями молодых ученых, он систематически направлял их внимание на вселенские соборы еще нераздельной Церкви. Он принимал участие в Оксфордских конгрессах по патристическим исследованиям (1955—1971), а также в Международном Византийском Конгрессе в Мюнхене (1958).

Внимание к работам и к месту о. Георгия в научной и религиозной мысли осознано интеллектуальной элитой Церкви и Академии не только в Афинах, Риме, но и в Кембридже, Принстоне. Отец Георгий Флоровский был, бесспорно, самым авторитетным богословом Русской Православной церкви. И несомненно, его влияние будет расти. Для тех, кто извлекает богословие из самого сердца Церкви, отец Георгий останется незаменимым учителем и руководителем.

Thomas E. Bird, Queens College.

В. С. ФЕДУКОВИЧ

Вацлав Станиславович Федукович родился 6-го декабря 1897 г. в Денисово, бывшей Виленской губернии. В 1915 году он окончил реальное училище. Военные действия вынудили семью Федукович уехать из родных мест в глубь России. Вацлав Станиславович начал служить в Земгоре в деле помощи беженцам и раненым. После прекращения деятельности Земгора поступил в Петроградский горный институт. Революция и разруха, последовавшая за ней, прервали его занятия. Закончить их удалось в Екатеринославском горном институте в 1924 году, где В. С. был оставлен, как преподаватель геофизики. В 1930 г. В.С. назначается профессором геофизики в только что основанный Киевский горный институг. В Киеве он ведет преподавательскую и исследовательскую работу, одновременно являясь помощником декана геологического факультета и редактором трудов Киевского горного института.

В конце 1935 года Киевский горный институт расформировывается из-за переезда столицы советской Украины из Харькова в Киев и нехватки помещений. Геологический факультет переводится в Днепропетровский (бывший Екатеринославский) вливается в геолого-маркшейдерский горный институт И факультет. Профессор Федукович, возвратившись в свою Альма Матер, занимает здесь кафедру геофизики и остается на этом посту до 1937 года. Наступает период сталинского террора. Два родных брата В.С. в это время были арестованы по ложным обвинениям и погибли в концлагерях. Гибнут и его коллеги профессор маркшейдерского искусства Иван Прохорович Бухинпрофессор гидрогеологии Гембицкий, проф. Микей, множество профессоров и студентов. Вацлав Станиславович спасается от неминуемого ареста тем, что бросает кафедру и скрывается в Киеве и на Кавказе. Станиславович с женой увлекались альпинизмом и проводили много времени в горах. Этот вид спорта помог ему скрываться и пережить трудное время. Когда волна террора ослабела, В.С. возвратился в Киев и поступил в Геологический институт Украинской Академии Наук, где с 1938 по 1941 год возглавлял геофизический отдел. Одновременно он преподавал геофизику в

Киевском университете.

Во время второй мировой войны, В. С. и Е. Т. Федукович становятся беженцами. Сначала они попали в Польшу. Потом — в Чехословакию и далее, в Австрию. Много пути было проделано пешком, с повозкой, на которой везли свой скромный скарб. В 1949 году В. С. и Е. Т. переехали в США. Здесь пришлось начинать жизнь с физического труда, которого профессор Федукович не чуждался. Вашлав Станиславович любил говорить: "инженер должен уметь делать все, быстро ориентироваться и решать любую задачу." И он успешно справляется с отливкой скульптур для рекламы. Но уже в 1950 году Вашлав Станиславович возвращается на свое поприше и начинает работать с известным геофизиком-консультантом Келли в области разведки полезных ископаемых в Аппалачских горах, в Аризоне, Нью Мексико, Колорадо, Онтарио, в знойной пустыне и в занесенных снегами канадских лесах.

В 1954 году В. С. переходит на работу в Ламонтскую (ныне Ламонт-Дохерти) обсерваторию Колумбийского университета. Здесь, вплоть до ухода на пенсию в 1971 году, он занимается геологией и геофизикой океана. В 1974 году после ухода на пенсию его жены, Елены Терентьевны, профессора офтальмологии Ньюйоркского университета, они переезжают в Сарасоту, во Флориде. Здесь окруженный заботами Е. Т., его верной спутницы жизни в течение 55 лет, Вацлав Станиславович скончался 29 декабря 1979 года.

Свою преподавательскую деятельность В. С. Федукович начал на заре развития разведочной геофизики, когда вырабатывались новые методы и создавалась новая аппаратура. В такой атмосфере научно-технического творчества профессор Федукович вводил своих студентов в область геофизики. Он был блестящим преподавателем. И многие его бывшие студенты заняли ведущее положение в геологии и геофизике, став учеными исследователями и преподавателями.

Список печатных трудов В. С. Федуковича включает статьи и книги во многих областях геофизики и горного дела. Ему принадлежит также ряд изобретений. В.С. Федукович был членом ряда американских научных и инженерных обществ, а также Русской Академической Группы в США, в создании которой он

принимал большое участие. Он любил Америку, в которой обрел свободу и благополучие. В. С. был чудесным, душевным человеком и те, кто его знали, сохранят о нем самую светлую память.

Е. А. Александров

ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ФОНД "НОВОГО ЖУРНАЛА"

В ответ на обращение редактора "Нового Журнала" Романа Гуля к друзьям и читателям, в издательский фонд журнала поступили пожертвования, список которых приводится:

А. Гурвич — 200 долл., Н. Харлэй — 100 долл. По 50 долл. — С. Голлербах, проф. Ю. Джапаридзе, проф. С. Крыжицкий. По 25 долл. — О. Анстей, Л. Далина, Н.Н., Б. Павлов, И. Тумаркина (памяти М. С. и М. О. Цетлиных), проф. Е. Федукович, д-р О. Шидловский. По 20 долл. — О. Бондарь, С. Войцеховский, Н. Лобунец, Б. Просс, Р. Савин, проф. В. Тремль, Л. Шмаева. По 10 долл. — Н. Демидович, Л. Казанцева, Н. Н., Х. Х., Г. Хомяков (Андреев). По 5 долл. — Л. Капрецкая, Е. Карюк. Всего — 825 долл.

Второй список пожертвований:

Е. Леонтович — 100 долл.; проф. Б. Бровцын — 75 долл.; по 50 долл. — проф. Ю. Иваск, О. Пантунов-младш., Б. Прянишников, проф. С. Пушкарев, проф. В. Филипп, Андрей Седых; по 30 долл. — А. Верховская, Е. Кобец, П. Муравьев, А. Поплюйко-Натов, проф. Н. Поплюйко-Натова, А. Росс; Т.Геккер — 26 долл.; по 25 долл. — 3. и В. Вер, М. Волин, Л. Иванникова, Б. Ланд, А. Мильруд, Е. Могилат, С. Пахомов, М. Шерома, Т. Ярошевич; по 20 долл. — М. Влади, В. Коверда, В. Ляпунова, И. Микуловский, Е. Мюленталь, Н. Ульянов, Т. и А. Фесенко, Н. Щерби, З. Шпаковская; Л. Синицкая — 15 долл.; по 10 долл. — Н. Борисов, Н. Боткин, Н. Васи-Василевская, Воробьев и Эллис и Свансон, К. Гальченко, о. Александр Киселев, Н. Кузнецов, М. М., о. Иосиф Строк, В. Форбес; Н. Мациевич — 6 долл.; по 5 долл. — М. Бугураев, Н. Дорошин, П. Книлл, В. Мезенцев; И. Буер — I долл. Всего 1228 долл.

Третий список пожертвований:

Е. Меркурьев — 200 долл. По 100 долл. — проф. О. Ильинский,

Толстовский Фонд, проф. 3. Юрьева. Проф. И. Чиннов — 60 долл. По 30 долл. — А. Бургина, Э. Боброва, И. Карабанович. По 25 долл. — Н. Мицкевич, А. Пругло, Н. Третчикова, И. Хохлов. А. Гинденбург — 16 долл. По 15 долл. — Н. Н., В. Форбес, В. Эфрон. С. Ильич — 12 долл. 50 цент. По 10 долл. — И. Богоявленская, А. Горбацевич, М. Йотч, С. Миро, О. Стаси, В. и Г. Кривошеины. А. Колт — 5 долл. Всего — 939.50 долл.

Четвертый список пожертвований:

Л. Фиалков — 100 долл. По 50 долл. — В. и Б. Ивановы, П. Палий, проф. Н. и Е. Андреевы, проф. А. Опульский. Проф. Л. Ржевский — 30 долл. По 25 долл. — Е. Климов, д-р К. Рыбин, Ек. Ленц, библиотека Св. Троицкого собора, А. Бармин, Г. Майдачевский. По 20 долл. — Г. Григорович-Барский, В. Завалишин, проф. Дж. Глэд, А. Журба, проф. Р. Плетнев. По 15 долл. — д-р Л. Эллиас, Т. Филановская. По 10 долл. — В. Макаров, О. Нестерова, В. Турский. По 5 долл. — Г. Минченко, г-н X. Всего — 650 долл.

Пятый список пожертвований:

По 100 долл. — проф. А. Шлиппе, Вл. Рудольф, С. Зауер ("Заря"). Проф. В. Крупич — 75 долл. По 50 долл. — Кс. Шлиппе, Б. Добрянский, Ю. Зорин, Ю. Елагин. По 25 долларов — проф. Д. Левицкий, проф. Н. Первушин, Евг. Любин, проф. В. и Е. Карпович. По 20 долл. — Н. Кудрявцев, Н. Дерюжинская, А. и М. Павловы (Париж). Р. и А. Полюшкины — 15 долл. По 10 долл. — проф. Ральф Фишер, М. Аренсбургер, Н. Косачева. В. Гаевский — 6 долл. По 5 долл. — проф. К. Леонтьева, Е. Буколова. Всего — 796 долл.

Шестой список пожертвований:

Е. Леонтович — 100 долл. (повторно). Д-р. Е. Грауберд — 75 долл. По 50 долл. — проф. С. Пушкарев (повторно), проф. М. Раев. С. Серегин — 30 долл. Проф. В. Эджертон — 26 долл. По 25 долл. — проф. Е. Федукович (повторно), Б. Просс (повторно). По 20 долл. — проф. Ф. Богатырчук, Е. Чупракова, Г. Стоциус. Е. Власов — 16 долл. По 10 долл. — проф. С. Левицкий, А. Бенземан, Д. Турский, игумен Г. Эйкалович. М. Гордон — 6 долл. Всего — 503 долл.

Седьмой список пожертвований:

Вас Хефдинг — 250 долл. Проф. С. Тимашев — 200 долл. По 100 долл. — С. и М. Грязновы, Ал. Юрьева, Л. Найда, Проф. Л. Штильман — 50 долл. Проф Г. Пахомов — 30 долл. Н. Барнатный — 26 д. А. Титович — 20 д. А. Павлов — 16 долл. М. Моргулис — 15 долл. По 10

долл. — Н. Горская, А. Трейг. Всего — 927 долл. Восьмой список пожертвований.

М. и А. Бибиновы — 76 долл. В. Форбес — 55 долл. (всего 5 пожертвований на сумму 70 долл.). Н. Вестфаль — 40 долл. Е. Филиппс-Юзвиг — 30 долл. (памяти учителя, профессора Н.С. Арсеньева). По 25 долл. — В. Огильви, Н. Щерби, А. Верховская. По 20 долл. — А. Поплюйко, (повторно), А. и К. Пругло (повторно, памяти д-р Фальберга), д-р Г. и И. Струковы, И. Елагин. Л. Войку (Париж) — 18 долл. По 16 долл. — д-р А. Токаревич, О. Мезенская. По 15 долл. — проф. А. Звеерс, Г. Бобринской. А. Евреинова-Кашина (Париж) — 11 долл. (50 фр.фр.). По 10 долл. — Е. Свенсон, А. Воробьев. Е. Эллис (повторно), И. Мамонтов, М. и Г. Заречняк. По 6 долл. — д-р Г. Смирнов, И. Анисимова. Всего — 489 долл.

Дополнительный список Е. Концевич — 24 долл.; А. Боголюбов — 50 долл.; И. Миролюбов — 35 долл.; Б. 303 — 7 долл. П. Горяев — 25 долл. проф. Рене Герра (Париж) — 30 долл. проф. С. Пушкарев — 100 долл. (в третий раз), Е. Могилат — 25 долл.

Всего до 23 марта пожертвовано — 6.703 долларов.

Редакция сердечно и дружески благодарит всех друзей и читателей "Нового Журнала" за эту поддержку.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Сбор продолжается.

Редактор — Роман Гуль

БИБЛИОГРАФИЯ

Б. ПРЯНИШНИКОВ. НЕЗРИМАЯ ПАУТИНА. Нью Йорк. 1979.

Полная история русской эмиграции станет возможной лишь тогда, когда коммунистических поработителей сменит другая власть. Только тогда будут разоблачены все преступления, совершенные Лениным и его преемниками. Теперь приходится довольствоваться воспоминаниями наших зарубежных современников и тем, что хранится в архивах, зарубежных и иностранных. Б.В. Прянишников заслужил немалую признательность за его замечательную книгу, бросающую яркий свет на людей и события. Его труд знакомит читателей с тем, что он верно назвал "незримой паутиной" то, чем ОГПУ и позже КГБ не только опутали своих противников, но и вовлекли в свою работу некоторых эмигрантов.

Именами двух преступных слуг коммунистических палачей — генерала Н.В. Скоблина и его жены, певицы Н.В. Плевицкой — открывается книга, доказавшая их несомненную причастность к похищению генерала Е.К. Миллера и их участие в преступлении, жертвою которого стал генерал А.П. Кутепов. Многим русским эмигрантам вероятно не известно, что задания ОГПУ, направленные против Русского Обще-воинского Союза, выполнял внук основателя московской Третьяковской галереи С.М. Третьяков, расстрелянный в 1942 году в Париже немцами, обнаружившими в занятом ими Минске доказательства его причастности к упомянутым похищениям.

Две короткие главы "Незримой паутины" посвящены "русскому" Берлину и "русскому" Парижу. Читателям сообщены биографические сведения об А.П. Кутепове. Упомянуто расхождение его мнений со взглядами П.Н. Врангеля. Значение следующей главы о "прославившем" свое имя орудии чекистов А.А. Якушеве состоит в том, что Б.В. Прянишников опроверг советскую легенду об его аресте после заграничной встречи с эмигрантом Ю.А. Артамоновым, ставшим

несколько позже представителем "Треста" в Польше. Автор книги убедительно доказал, что эта встреча состоялась с ведома и по поручению ОГПУ.

Подробно рассказана судьба Б.В. Савинкова и участие чекиста, латыша Опперпута, в провокации, завершившейся трагической смертью жертвы. Причастностью провокатора к этой трагедии объяснялась позже возникшая перед ним в годы существования "Треста" необходимость избегать появлений за границей. "Тресту" отведено в книге значительное место, не только совпадающее в общих чертах с более ранней информацией, но и дополняющее ее новыми сведениями. Совершенно ново многое из того, что автор рассказал о "бегстве" Опперпута из Москвы в Финляндию и о возникшей там подготовке кутеповской боевой организации к террористическим актам в порабощенной коммунистами России. Как мы знаем, это задание удалось только В.А. Ларионову и двум его соратникам, совершившим в Петрограде нападение на коммунистический клуб и благополучно возвратившимся в Финляндию. Возглавленное сотрудником ОГПУ, то есть Опперпутом, лживое намерение взорвать в Москве общежитие видных чекистов естественно не удалось. Спутники Опперпута в этом походе — М.В. Захарченко и Ю.С. Петерс — погибли. Свое первоначальное сообщение о смерти Опперпута ОГПУ не повторило. В книге Б.В. Прянишникова сведений о его судьбе нет. Достоверным кажется мне сообщение о том, что в годы войны Гитлера со Сталиным он, называя себя Коваленкой и бароном фон Мантейфелом, создал в Киеве под видом антикварного магазина опорный пункт коммунистического подполья, был немцами разоблачен и расстрелян. Ныне покойный генерал В.В. Бискупский сообщил мне это в декабре 1944 года со слов высокопоставленного немпа.

Короткая глава посвящена евразийцам, к которым "Трест" особого внимания не проявлял. Зато подробно описаны попытки чекистов получить за границей денежные средства "для борьбы с советской властью". Две статьи посвящены называвшему себя англичанином уроженцу Одессы Сиднею Рейли, смерть которого во время "тайной" поездки в Москву была признана историками достоверной, хотя недавно он в том же городе был назван одним из тех тайных сотрудников ОГПУ, которым должен быть поставлен памятник.

Статья о В.В. Шульгине и его якобы тайной поездке в Россию, после которой им была написана книга "Три столицы", изображавшая

порабощенную страну благоденствующей, совпадает с тем, что после разоблачения "Треста" было написано эмигрантской печатью об этой книге и ее авторе. Совершенно новой будет для каждого читателя "Незримой паутины" глава об участнике кутеповской боевой организации Г.Н. Радковиче, не поверившем в смерть любимой им М.В. Захарченко и готовым на всё ради ее освобождения.

Глава о попытках А.П. Кутепова продолжить борьбу с коммунизмом в России и о советских агентах, пытавшихся наладить связь с ним и с С.П. Мельгуновым, предшествует рассказу о похищении Кутепова и этим завершает первую часть книги. Вторая начинается биографией генерала Е.К. Миллера и об оставленном ему "наследстве Кутепова", то есть продолжении неравной борьбы немногочисленных эмигрантов с укрепившимся в России коммунизмом. То, что Б.В. Прянишников затем рассказал в главах о "Тайной организации в Софии", "Внутренней линии во Франции", "Национальном Союзе Нового Поколения", "Переписке из двух углов", "Генерале П.Н. Шатилове", "Несостоявшейся дуэли", "Идеологии Внутренней Линии", "Целях и задачах Внутренней Линии", "Внутренней Линии в действии", "Моей поездке к Е. К. Миллеру", "Борьбе в подполье", "Кризисе на верхах РОВСа", "Генерале Эрдели и Организации", несомненно будет для большинства читателей чем-то совершенно им не известным и новым. То же можно сказать о следующих главах, которыми автор "Незримой возможность ознакомиться с обстоятельствами и паутины" дает событиями, подавляющему большинству русских эмигрантов не известными. Перечисление этих глав дает представление об их содержании. "Е.К. Миллер в окружении Скоблиных", "Внешняя линия РОВСа", "Неудачный поход эмиссаров", "Полковник Х. обвиняет генерала ХХ", "Скоблин и финны", "Бунт маршалов", "Е.К. Миллер и НСНП", "Дело Линицкого-Коморовского", "Расследование сенатора "Борьба Е.К. Миллера с Внутренней Линией", "Международная обста-РОВС", "Последнее лето Е.К. Миллера", "Похищение Е.К. Миллера", "Неудавшееся алиби", "Разоблачение Внутренней Линии", "Внутренняя Линия обороняется", "Интервью Шатилова", "Акции против руководителей НТСНП", "Французское следствие", "Архив в доме Скоблиных", "Советское дно Парижа", "Комиссия генерала Эрдели", "Генерал Ф.Ф. Абрамов", "Братья Солоневичи, Фосс и Раскольников", "Скоблин и дело Тухачевского" вводят читателей в ту часть истории русской эмиграции, которая вероятно большинству не

известна. Создание картины событий и их участников — несомненная заслуга Б.В. Прянишникова.

Этим "Незримая паутина" не исчерпывается. В частности, подробно описан состоявшийся в Париже процесс Плевицкой, которую французский суд признал соучастницей бежавшего Скоблина в похищении генерала Миллера. Избежать наказания ей не удалось. В октябре 1940 года она скончалась в тюрьме французского города Ренн, где — прибавлю от себя — вела дневник, изобличающий ее преступную связь с Третьяковым. Дневник этот, насколько мне известно, стал каким-то образом достоянием одного из американских университетов.

В книге — 22 фотографии, из которых многие дают представление о людях и событиях, ранее широкому кругу читателей не известных. Перечисление книг, брошюр, документов, статей в газетах и журналах, которые Б.В. Прянишников изучил для своего труда, занимает в книге пять страниц. В примечании к ним сказано, что "в настоящую библиографию не включены многие источники, имеющиеся в архиве автора".

С. Войцеховский

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

В Ньютонвилле (Массачусетс) в содружестве по изучению Восточной Европы вышла книга "Серебряный век" с подзаголовком: "Русское искусство начала века" и группа "Мир Искусства". Автор — Джон Болт, профессор Тексасского университета в Остине и директор института современной русской культуры (Голубая лагуна, Тексас).

Книга эта настолько значительна, что вполне достойна стать настольной для всех, кто интересуется русским искусством. В Советском Союзе искусством начала века и особенно группой "Мир искусства" занимались Михаил Лифшиц и Наталья Лапшина. Но их исследования не свободны от тенденциозности. Труд Джона Болта соединяет знание предмета изнутри со знанием извне. Построена книга путем сочетания трех принципов: хронологического, проблемного, монографического. Автор прекрасно достиг этого сочетания, что делает честь его организованности и логике.

Книга открывается сжатым описанием академизма и реализма в

русском искусстве. Затем говорится об Абрамцеве и Талашкине, о Савве Мамонтове и княгине Тенишевой, о том, что значат их усадьбы для русской культуры. Затем в нескольких главах описывается творческий путь "Мира искусства". Здесь даны сжатые монографии о творчестве Михаила Врубеля, Сергея Дягилева, Александра Бенуа, Константина Сомова (особенно удачно), Льва Бакста, Ивана Билибина, Мстислава Добужинского. Может быть, для полноты описания следовало бы включить сжатую монографию о Николае Рерихе. Но о нем более или менее достаточно говорится в разных главах этого обстоятельного труда.

Прекрасно написаны страницы, посвященные Валентину Серову, Рябушкину, Борисову-Мусатову, Сурикову, Павлу Кузнецову, Виктору и Аполлинарию Васнецовым, Дмитрию Стеллецкому. Надо признать, что Джон Болт заслуженно придает большое значение проблемам стилизации русского фольклора и преображению художниками XX века мотивов русских художественных ремесел. Тем более обидно за Филиппа Малявина, которого Джон Болт ценит явно недостаточно.

Заслуженно вырваны из забвения имена Николая Каразина, Александра Богомазова, Константина Вялова и других. Хотелось бы поблагодарить Джона Болта за упоминание о Константине Богаевском, правда, заслуживает большего. Более существенным упущением автора является то, что не упомянуты русский предстапредшествовавшей сюрреализму метафизической Василий Чекрыгин и такой крупный сатирик, как Александр Топиков, которого называли "русским Норманом Роквеллом". Но эти упущения, думается, допущены Джоном Болтом не по недосмотру, а по независящим от него обстоятельствам. Чекрыгин все еще не дожил до посмертной реабилитации и его работы в советских музеях по-прежнему находятся в запасниках. А исчезнувший в ежовщину Топиков все еще вычеркнут из искусства коммунистической цензурой, как будто его и не было.

Не будем требовать от Джона Болта невозможного, по крайней мере в настоящее время. Не только самое существенное, но и второстепенное и даже третьестепенное в принципе очерчено в этой книге умно и верно. Правильна мысль, что стремление "Мира Искусства" лостичь единения почвенного начала с европейской культурой, в чем огромная организаторская заслуга Сергея Дягилева.

Вообще эта книга на высоком уровне. И без нее, мы думаем, не может обойтись серьезный исследователь истории русского искусства.

С большим вкусом подобраны иллюстрации и даны ценные библиографические справки.

В. Завалишин

ИГОРЬ ЧИННОВ. АНТИТЕЗА. Седьмая книга стихов. Берчбарк Пресс. 1979. 114 стр. Предисловие Джона Глэда и Виктора Терраса. 15 иллюстр.

В эту книгу включены преимущественно, но не исключительно, стихи со знаком минуса, обличающие не только жестокость, пошлость, но иногда и весь мир. Еще лет двадцать тому назад Г.В. Адамович и В.В. Вейдле, ценившие поэзию Чиннова, недоумевали: как это случилось — наш камерный Чиннов, Игорь Тишайший покинул свой тихий лирический мир и в 60-х годах вдруг расцвел в ярких Пасторалях и неожиданно раскричался — стал мастером какофонического гротеска. Наоборот, В.И. Террас в своем предисловии к Антитезе отдает предпочтение метафорическому громкому Чиннову. Но все критики соглашаются: какой бы ни был Чиннов, он, несомненно, поэт без срывов.

В Антитезе Чиннова одолевают жуткие видения — из тех, которые грезились Св. Антонию, Босху, Брейгелю или Гоголю. В новой книге немало монстров: Полукрысы-полуовощи, Полуптицы-полувши. И над всем этим отвратительным миром царит Рок-шизофреник. Везде ирония — даже над самим собой. Так, "от ужасов отгородясь", Чиннов издевается над своими изящными уютами. Он саркастически отзывается и о современных лжеучителях и их клоунадах в кровавом XX веке.

Но главный враг Чиннова не пошляк, не лицемер, не палач, а смерть — хотя бы и безболезненная кончина. В его поэзии продолжается вековечное прение живота со смертью (так называлась одна русская повесть 15-16 вв.). Это и линия Розанова. Он даже отрицал самое слово "смерть": ведь этот ужас вообще не может быть назван на человеческом языке. А Чиннов пишет — "в гробу: Вместо грусти — будет каюк..." Чиннову, вместе с Иваном Карамазовым, хочется возвратить Богу билет. Но и пугает его карамазовская и лермонтовская неблагодарность. Не лучше ли примириться с нашей жалкой жизнью: вертеться белкой в колесе, биться рыбой об лёд... Весь этот пережитый Чинновым ужас —

древний, общечеловеческий и, вместе с нашими обидами, ропотом — явлен в иронических, но и ранящих стихах, родственных Анненскому или же в кощунственных — с отчаяния, как у Георгия Иванова.

Ну, душонка — синей птицей — ("Самой синей? Самой райской?")...

Есть ирония и в этом фантастическом, но и конкретнейшем предложении Чиннова: а не сделать ли нам из чудища-судьбы чучело?.. "И хорошо, если бы: Друг друга съели — Смерть и Горе, / чтоб лев питался светом звезл..."

О самой ткани стихов Чиннова. В юности, еще живя в Риге, он мечтал о чистой поэзии "без фона", и писал об этом в парижском журнале Числа. Но позднее понял: нельзя писать только на "поэтическом" языке: все слова хороши, если их поставить на надлежащее место даже пошлые (как уверял Анненский) и, тем более, народные или разговорные, например, эти: Мало-помалу, мало-помалу / И вот и вся недолга... т.е. конец, смерть, но, вместе с тем, кроме отчаяния и иронии, здесь есть звукопись (м,л), и есть музыка, которая снимает или устраняет жуть. Есть у Чиннова еще один прием, тоже неизвестный Так. он трижды, как заглинания, повторяет эти академикам. раздражительные, нудные или горестные, всем известные речения: Да ну вас... И где уж... Да что там. Выговариваются они в одно слово: дан Увас, игд Еуж, дашт Отам, и в даннои контексте, да еще при троекратном повторении, они становятся гакими-то загадочными неизвестными грамматике частями речи. может склоняемыми, как существительные. Есть близкий этому чинновскому приему прецедент у Анненского — Скажи сдно: ты та ли, та ли? Эти *тали* напоминают музыкальную Италию и походят на заклинания (в стихотворении Смычок и струны). Эти "шгучки" Анненского и Чиннова сложнее, тоньше корнесловия Хлебникова, который из смеха родил своего смехача! Наконец, в Антипезе, как и в предыдущих сборниках, Чиннов остроумно обыгрывает географию: Тоскания — это страна тоски, Павианию населяют обезьявоподобные люди. Есть и Печалия.

В гротескной *Антитезе* неожиданно зазвучала нота из эпохи рококо... в образе прекрасной уроженки острова Мартиники. Это Жозефина Богарне, жена Наполеона:

Креолочка! Императрица! Теперь вы где? Вы луч? Вы птица? Ах, всё на свете пустяки. Куда больше радости жизни в предыдущем сборнике, но и в Антитезе не только этот рококошный пустячок, а есть и благодать в стихах о золотых рыбках, о поэзии, о драгоценных оттенках бытия:

Мерцайте, морские созданья, Вы так золотисто тихи. Такое ночное мерцанье Порой излучают стихи. В своем фосфорическом свете Стихи проплывают, плывут. Блестят серебристые сети. Но люди едва ли заметят, Едва ли, едва ли поймут.

В наше время очень немногие согласятся с просвещенцами XVIII века: они утверждали, что мы живем в лучшем из миров. Но и в современной Павиании или Печалии земля остается красавицей — хрупкой, незащищенной, любимой, и хочется верить, что она обновится, возродится, спасется.

В.И. Террас верно заметил в предисловии: Чиннов — космополит, но остается русским и творит чудеса на русском языке. Космополитичны и современные поэты Запада, но Чиннов отличается от них тем, что в его поэзии меньше "долгоруких" ассоциаций, связывающих несхожие предметы и явления. В этом смысле его поэтика более консервативна и говорится это не в укор. Настоящим поэтам незачем модничать.

С недавних пор в некоторых читательских кругах в Сов. России возник интерес к поэзии первых двух эмиграций, и в частности к Игорю Чиннову. Но есть разница в самом климате Москвы или Петрограда и всего Запада, в котором живут поэты-эмигранты. В Советском Союзе одолевает трагедия неудачи — там нет свободы слова, там писателей сажают в дурдома и в ГУЛаг, а в Западной Европе и в США полная свобода и чуть ли не всеобщее благополучие. Может быть, трагедия Запада есть трагедия удачи. Лучшие люди Запада это понимают и задумываются о последних вещах человека: о смерти, о Боге. Понимают это и поэты — Т.С. Элиот или В.Х. Одэн, а также и очень космополитический, но и очень русский Игорь Чиннов. Но в метафизику упираются и некоторые поэты, живущие в СССР. Не могу их назвать по имени... Один из этих метафизиков недавно приехал в США.

Это — Димитрий Бобышев, начавший писать под эгидой Анны Ахматовой.

К книге приложена обширная библиография.

Юрий Иваск

ВЛАДИМИР ВЕЙДЛЕ. НА ПАМЯТЬ О СЕБЕ. Стихи. 1979. 74 стр.

Владимир Васильевич Вейдле писал стихи в молодости, еще в России, и только через сорок лет, когда ему уже минуло семьдесять, вернулся к поэзии, и продолжал писать их до самой смерти. Сам он был очень скромного мнения о своих стихотворных опытах и стеснялся о них говорить — разве что с друзьями-поэтами. Скажем прямо: какогото своего собственного видения мира у Вейдле не было, но никак нельзя сказать, что он писал по готовым образцам.

Еще в России его потянуло к верлибру и в свое последнее четырнадцатилетие (1965-1979) он писал белые "свободные" стихи, а также почти забытые русскими поэтами гекзаметры. Некоторые его стихи почти проза, и все-таки в них слышится трудно улавливаемый ритм, как, напр., в его Успении — это заалтарная картина Рубенса, изображающая предстание Богородицы перед Спасителем, уже на небе — и вот Вейдле, в полубреду, молится перед этим образом. Рядом с ним неожиданно оказался уже умерший ресторатор или официант, с которым он когда-то встречался здесь — в Антверпене. Этот Пассарелли или Паганелли — фигура жалкая, в потрепанном пиджаке. Почему именно он появился в антверпенском "сне" Вейдле?

А.М. Ремизов иронически говорил мне о Вейдле: он такой большой, белый, холеный, похож на финна... Но вот из этих антверпенских стихов мы узнаем: он, блестящий ученый, умудренный гуманист, поклонник Клоделя, но и эгоцентрик, а иногда просто эгоист — втайне, очень порусски, беседовал со своей совестью и признавался: чем он лучше этого жалкого безобидного итальянца и даже того противного пошляка и плута, которого он встретил еще в петроградском ресторане и описанного им в юношеском Неприятном стихотворении.

Книги В.В. Вейдле об искусстве, его проницательные очерки — это ведь фрагменты по истории и философии русской культуры, целый гуманитарный семинар, в котором уже начинает учиться медленно освобождающаяся от советского варварства культурная молодежь где-

то на Арбате... Честь ему за это и слава, а более всего благодарность от молодых русских читателей его книг *Умирание искусства* или *Безымянная страна*. А в своем утаенном уединении, слушая шопоты своей скромной музы, он раздумывал о последних вещах человека, и мы видим другого Вейдле — смиренного раба Божия Владимира.

Судя по его лирическим признаниям, Вейдле верил или хотел верить. Иногда сомневался и в жизни вечной, и в самом бытии Божием, но полностью доверял любви. В стихотворении 78 г. он писал:

Но, если кончился мир, что же осталось? — Любовь... Или:

Ты — только в том, что любил. Ты только там, где Любовь. Как это просто сказано, не по модному-авангардному, и стихи не Бог весть какие, но всё же сказано по-новому, по-своему и убедительно.

Для русской культуры, для новой гуманистической, но и христианской школы мысли, уже в настоящем, но, вероятно, и для будущего, В.В. Вейдле сделал очень много, а его скромные стихи: дневники, которые существенным образом восполняют его образ учителя.

Эту тетрадь стихов издал Рене Герра — верный друг России и русских эмигрантов; Владимир Васильевич тщательно подготовил книгу для печати, но в руках уже не держал, скончался незадолго до её выхода.

В послесловии В.В. говорит: "Писал я их (стихи), не о литературе помышляя, а стремясь высказать ими возможно точнее то, чего без них высказать бы я не мог". И это, В.В., несомненно, удалось сделать. В его лучших стихах есть поэзия, хотя сам он в этом сомневался.

Юрий Иваск

ARTHUR CARL PIEPKORN. PROFILES IN BELIEF: THE RELIGIOUS BODIES OF THE UNITED STATES AND CANADA. Vol. 1: Roman Catholic, Old Catholic, Eastern Orthodox. New York: Harper and Row, 1977. 480 pp.

Это только первая ступень в обширном научном проекте — первый том семитомной серии о религиозных направлениях в США и Канаде. Грандиозный этот замысел принадлежит лютеранскому ученому, профессору богословия в Лютеранской семинарии "Конкордии" в Сан

Луисе, Артуру Карлу Пипкорну, чья блестящая эрудиция стала легендой еще при его жизни (он внезапно умер в декабре 1973 года). Другой выдающийся протестантский интеллектуал Америки профессор и декан Богословской школы в Чикагском университете Мартин Марти написал предисловие к книге. Перу известного католического богослова Гарри Дж. Максорли из Колледжа Святого Михаила в Торонтском университете принадлежит общирное введение.

Хотя Пипкорн включил в книгу огромное количество исторической информации (его примечания — неисчерпаемый кладезь для будущих исследователей), настоящая ценность этой книги все же в другом — автор сумел обнаружить экзистенциальную, а говоря по-русски — сердечную, душевную первооснову этих многочисленных религиозных групп.

Уже в предисловии четко выявляется задача исследователя и жанр книги, в самом названии которой подчеркивается очерковый, эскизный ее характер. Нельзя не отметить вклад, внесенный в это издание Джоном Титдженом, бывшим ректором семинарии "Конкордии" — он взял на себя после смерти Пипкорна труд отредактировать книгу, по его словам, "изменить только то, что было необходимо, дабы привести материал в соответствие с сегодняшним днем".

Шестнадцать глав этого тома охватывают Христианство перед Халкидонским собором, Дохалкидонские (Древневосточные) церкви, Православие в целом, и его общины в США и Канаде — албанскую, белорусскую, болгарскую, греческую, карпаторусскую, македонскую, румынскую, русскую, сербскую, украинскую, финскую, эстонскую; религиозные общины, ведущие свое начало от Православной Церкви и других восточных источников — эти группы определены церковными историками как "пастыри без паствы", наконец, русское староверчество. Семь глав посвящены Церкви на Западе — богословскому и духовному руководству, догмам и доктринам, богослужению и церковной жизни, начиная с Тридентского собора до Второго Ватиканского, самой природе римского католицизма, различным направлениям внутри его и функции Церкви в западно-европейском обществе; старокатолическим общинам в Европе; другим церквам, имевшим претензии на апостольскую преемственность от старокатолических епископов; Обновленной Церкви Иисуса Христа.

В краткой рецензии я вынужден ограничить обзор несколькими главами, посвященными Православной Церкви (гл. 3), ее общинам в США и Канаде (гл. 4) и староверчеству (гл. 6).

После краткого объяснения, почему он выбрал именно английский термин "Восточное Православие" ("Eastern Orthodoxy"), автор

описывает историческую роль самых ранних соборов Древней Церкви, ее разделение на Западную и Восточную, так называемую "эру византийской теократии", и последствия распространения Ислама. Далее следуют — краткий очерк Православия в России, характеристика православного богословия, таинств, календаря, паралитургической службы, церковного права, очерк православного миссионерства, обзор отношений Православной Церкви с Дохалкидонской, Римско-Католической, Англиканской, Лютеранской и Пресвитерианской церквами, и со Старокатоликами. Последние очерки о Православии в США и Канаде как бы вводят читателя в главу об источниках этой Церкви в Новом Свете.

Хотя автор и замечает, что "Православная церковь в Новом Свете расколота национальным, идеологическим, а порою и личным соперничеством", тем не менее его выводы оптимистичны, ибо реальная жизнь общин более содержательна и менее замкнута, чем Постоянная Конференция Православных Епископов в Америке.

Живописуя жизнь православных общин, характеризуя их коллективную психологию и пытаясь найти место Православной Церкви в умопостигаемом английским читателем социальном, политическом, культурном и религиозном мире, автор значительно способствует пониманию Православной Церкви как таковой.

Что касается русского читателя, то с его точки зрения самой интересной, вероятно, будет постановка вопроса о староверчестве, необычная в западной публикации и особенно необычная, когда принадлежит перу американского протестанта. С тшательностью и полнотой Пипкорн воссоздает образ староверчества, пробивая свой путь сквозь различные толки староверческого мира: поповцы, беспоповцы, беглопоповцы, поморцы, единоверцы. С полным основанием это описание можно назвать подарком для церковных историков.

Совершенно очевидно, что Пипкорн и Титджен пользовались исследованием Антона С. Беляева, которое появилось в Русском Ривю "Староверцы в США", 1977). К сожалению, ни эта статья (36/1)неопубликованная ни его докторская диссертация Староправославных Происхождение (одна из лучших по-английски в этой области) в библиографии имеющихся упомянуты.

Интересен Пипкорновский пересказ саги о староверческих миграциях из Харбина, Шанхая, Манчжурии, Эски Каклар в Турции, Брайлова на Дунае и Бразилии и о их скитаниях по Америке, пока они не осели — поповцы в Альберте, Патерсоне, Нью Джерси; беспоповцы в

Фривуд Эйкерсе и Миллвилле, Нью Джерси, Вудборне и Джервэйсе, Орегон; поморцы в Марианне и Ири, Пенсильвания, в Детройте, Мичиган, и Миллвилле, Нью Джерси.

Точная документация и хорошая организация материала указывают на скрупулезные исследовательские методы, результатом которых и стала эта уникальная историко-аналитическая книга. Единственный существенный ее недостаток — недостаточно полный указатель, особенно по контрасту с изобилием имен в книге.

Thomas E. Bird, Queens College

T.H. RIGBY. LENINS GOVERNMENT. SOVNARKOM. 1917-22 Cambridge University Press. Cambridge. 1979.

Автор книги — профессор Австралийского Национального университета в Канберре; он владеет русским языком, бывал не раз в СССР. Он напечатал несколько книг по советоведению и, печатая настоящую книгу, работал в Ленинской библиотеке в Москве, в Британской библиотеке, Бодлейн библиотеке (Оксфорд), в библиотеках трёх больших университетов Америки, в Институте Мирового хозяйства (Германия) и в других учреждениях.

Справочная часть книги составлена обширно, по десять страниц на библиографию источников, книг и статей на русском языке, такого же размера указатель, предметный и именной. Надо заметить, что в сталинский период изучение этого вопроса отличалось формальным характером и лишь позже стало более научным. Книг на иностранных языках на эту тему оказалось всего три, но не по-английски. Поэтому можно особо ценить примечания на 50-ти страницах, причём они даны с пояснениями и цитатами. Это делает книгу незаменимой для читателей, не знающих русского языка.

Обратимся теперь к содержанию книги. Она распадается на три части: первая, где описывается захват власти Лениным, вторая — Совнарком в действии, третья — характеристика народных комиссаров и рекрутирование их, болезнь Ленина и перемены в Совнаркоме. О захвате власти можно много не говорить: это событие было много раз описано, и даже показано на картине со свойственным советскому стилю преувеличением. Более важно было сопротивление, оказанное захвату. В книге подробно рассказано о бойкоте новой власти правительственными служащими; но не говорится, что сделала армия,

единственная организованная сила в стране. Удар был нанесён в её центр — в штаб Верховного командования, находившийся в Могилеве. Рассказ об этих событиях, закончившихся убийством начальника штаба ген. Духонина, можно найти хотя бы на страницах "Нового Журнала" в моей статье (декабрь 1970 г.).

После разгона Учредительного собрания возник вопрос о новом названии Временного Правительства; партия левых с. р. иронически предлагала назвать его "вечным". Была найдена формула для Совета Народных комиссаров; по этому поводу профессор Ригби рассматривает прецеденты этого названия. Действительность была далека от этого громкого наименования: весь Совет помещался в одной комнате Смольного института.

С переходом в Москву, Совнарком получил лучшее помещение, штат сотрудников, и возникла канцелярия при нём. Вскоре обнаружилось, что Совнарком не мог справиться с потоком поступавших дел, и было создано новое учреждение для разработки деталей и малых дел (вермишель) — малый Совнарком, куда вошли некоторые комиссары и новые лица; Ленин был председателем и здесь и там. Поставленные вопросы в малом Совнаркоме, после их обсуждения, передавались в большой Совнарком, а иногда уже считались решенными в малом. Но с началом гражданской войны понадобились новые учреждения для хозяйственных нужд — Совет обороны. С окончанием гражданской войны на первое место стала экономическая задача (40% всех дел, а потом 81%). Совет труда и обороны (1920), получивший название СТО, был учреждением параллельным Совнаркому, а не подчиненным ему. Единство этих учреждений достигалось участием в них главных большевицких вождей (Ленин, Троцкий, Сталин).

Показав возникновение и развитие Совнаркома, автор рассматривает его и работавших в нем людей (комиссары) с Лениным во главе. Здесь надо еще упомянуть канцелярию Совнаркома; это было большое учреждение (100 работников), не только подготовлявшее бумаги для Совнаркома, но также имевшее административные функции.

Для характеристики членов Совнаркома автор применил особое табелярное исследование. Он построил шесть таблиц по признакам: политический опыт, занятия отца, возраст, общее образование, высшее образование, основное занятие; таблицы разбиты на группы, в которые включены те или другие комиссары; таким образом получилась характеристика облика Савнаркома, иногда неожиданная, например, по во-

просу происхождения и образования комиссаров. Аппарат правительства оказался довольно сложным, в главных учреждениях Ленин работал сам, а за другими наблюдал. В общем, он являлся председателем, лидером, главным исполнителем и практическим политиком, будучи таким образом мотором всей машины, говорит автор.

Совнарком официально осуществлял свою власть "в интересах пролетариата" и под руководством коммунистической партии; революционная машина состояла из двух частей: советы, их съезды и постоянный президиум после них, а с другой стороны, партийные съезды, центральный комитет и постоянное Политбюро (позже), а также Оргбюро. Съезды советов собирались сначала часто, потом реже и реже и наконец действовал только центральный комитет и президиум. Считать съезд советов за "парламент", а Совнарком за кабинет министров было бы совершенно неверно. Советы говорили о нуждах населения, даже критиковали действия правительства и сыграли некую роль по окончании гражданской войны, когда страна оказалась в состоянии разрухи и насилия. Но надо было еще разграничить действия президиума и Совнаркома, и это произошло не сразу и не без трений.

Отношения между Политбюро партии и Совнаркомом было более дружественные, чем с президиумом советов. Партия сыграла большую роль во время гражданской войны. В мирное время деятельность обоих учреждений переплеталась, но постепенно была разграничена, так что на долю Политбюро выпало руководство политикой, решение важнейших вопросов, информация для правительства, программа для провинции и (позже) контроль над должностными лицами. Деятельность Совнаркома, наоборот, сузилась, его авторитет упал, отмечает проф. Ригби. Две системы могли работать только благодаря руководству Ленина и здесь и там.

Он оставался председателем Совнаркома до своей смерти в январе 1924 года, но его активная деятельность сократилась уже за два года до этого. Для помоши больному председателю создавались всякие удобства и давался дополнительный персонал. За последние месяцы Ленин попытался устранить кризис, возникший в его системе. Он обратился к очередному съезду партии (XI) и протестовал против административной работы, которой было занято Политбюро. Для Ленина было важно "оживить" Совнарком, для чего он предлагал ввести в него заместителей "премьера" — Каменева и Троцкого. Другая важная мера, намеченная им, касалась самого ЦК, куда он рекомендовал прибавить

50 — 100 работников с мест. Однако он успел составить только меморандум для порядка заседаний Совнаркома и также известное сейчас Завещание, в котором критиковал своих сотрудников, особенно Сталина.

Заключительная глава содержит интересные "исторические размышления". Прежде всего — сравнение Совнаркома с Британским кабинетом министров. Сравнение не может быть точным. Кроме структуры Совнаркома, он не отличался и "законностью", важной для британского образца: в Англии были общие свободные выборы в парламент, что было немыслимо для коммунистической диктатуры.

Более близким было сравнение Совнаркома со старыми русскими министерствами. Это был комитет министров (1802), особенно когда имп. Александр I отсутствовал в России во время войны с Наполеоном, затем Совет министров (1861), созданный для согласования комиссий, подготовлявших проект реформы при имп. Александре II, наконец Совет министров должен был представлять объединенный фронт при имп. Александре III для борьбы против "нигилистов". После революции 1905 г. были введены законодательные учреждения: Государственный Совет, наполовину назначенный, и Государственная Дума, и новый Совет министров с председателем графом Витте во главе. Вскоре были изданы Основные Законы, уменьшавшие власть Думы и премьера и укреплявшие самодержавие. Можно быть разного мнения о деятельности Столыпина, но говоря только об учреждениях, надо заметить, что П.А. Столыпин был первый русский министр в роли премьера; члены Совета министров смотрели на него как на лидера, и он имел авторитет у императора, благодаря чему помешал возникновению войны для России уже в 1909 г.; он часто появлялся в Думе и был из лучших там ораторов. Однако русский конституционализм оказался неустойчив уже при Столыпине, например, когда он распустил обе палаты на три дня и вошел с ними в конфликт.

В заключение проф. Ригби вспоминает личное мнение Ленина, что его Совнаркому мешала расширившаяся бюрократия. Но важнее, чем она, были пороки всей системы — произвол, беззаконие, террор, злоупотребление властью, обскурантизм (по-русски — мракобесие).

И. Гапанович

БИБЛИОГРАФИЯ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. ИЗБРАННАЯ ПРОЗА (1917-1937). Тт. I-II, (459 и 365 стр.) Руссика. Нью-Йорк. 1979. АРИАДНА ЭФРОН. СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ. "Лев" Париж. 1979. (185 стр.)

На Западе были изданы наиболее полные, не искаженные цензурой, собрания сочинений Мандельштама, Ахматовой, Гумилева (под редакцисй Г.П. Струве и Б.А. Филиппова). Издавали и Пастернака, но мало Цветаеву. Теперь этот пробел восполнится изд-вом "Руссика". Уже опубликованы два тома прозы и запланированы 5 томов поэзии. Редактор А.Е. Сумеркин. В прозу вошли преимущественно уже напечатанные очерки (воспоминания о Волошине без прежних купюр и полный текст "Слова о Бальмонте"). Включен и явно неудачно переведенный французский очерк Цветаевой Случай с лошадьми, который следовало бы перевести точнее — Чудо с лошадыми (подлинник хранится в сов. архиве и недоступен исследователям). Не включена замечательная Повесть о Сонечке, недавно опубликованная в книге Неизданное (1976). Примечания вынужденно краткие, и не без ошибок. Так, мать Цветаевой не умерла 8 лет (1898-1906!). Исправления должны быть даны в следующем томе. Всё же, редактор Сумеркин заслуживает похвалы и изданные два тома — ценный подарок читателям.

Прозу Цветаевой составляют главным образом литературные очерки, воспоминания, дневниковые записи. В статье Световой ливень (о Пастернаке) еще нет четкости, сжатости — этот ливень уж очень эмоционален. Лучшее в книге: эссе Искусство при свете совести, где Цветаева выявляет исконные противоречия между этикой и эстетикой. Она утверждает: захваченный стихиями художник иногда забывает разницу между добром и злом. Поэтому он будет осужден на Страшном суде совести и далее Цветаева осуждает и себя — поэта. Но она заявляет — есть еще Страшный суд слова — и "на нем я чиста". Эту вековечную антиномию Цветаева сурово, пуритански и очень драматически заостряет. Я убежден, что без учёта этого цветаевского очерка нельзя писать о литературе, и не толькой о русской и по-русски.

В предисловии И. Бродский обсуждает преимущественно поэтику Цветаевой. Видно, что он Цветаеву любит, ценит, но при этом, уже не впервые, утверждает — опыт человека (художника) перекрывается опытом инструмента, т.е. кисти, резца, струны или пера. Если заострять: не значит ли это, что сапоги тачает не сапожник, а его

сапожный нож? Цветаева великолепно знала и ценила свое, как ей казалось, — "бессовестное" мастерство, но не могла бы, конечно, согласиться с высказанным Бродским тезисом: инструмент преобладает над человеком (мастером). Это, прежде всего, подтверждается цветаевскими мифами о поэтах — в особенности самыми зрелыми очерками о Пушкине, Волошине, Андрее Белом, Мандельштаме. Цветаева вообще не отделяла творца от творчества, жизни от ремесла, а также от среды, истории. В этом смысле она была в традиции всей послепушкинской литературы: знала, что одного умения, одного инструмента недостаточно и настоящие стихи пишутся не только чернилами, но и кровью. Для нее было ясно: поэту совсем не надлежит быть гражданином, но и в своем лирическом уединении он взваливает на себя груз эпохи, мира. Известно это было не только русским писателям, а, конечно, и западным, но в XX веке многие начали забывать эту истину, в особенности, критики формальной антибиографической и антиисторической школы, они отдают предпочтение "артифакту" перед артистом. Между тем этот (иногда и небесполезный) формализм давно уже зашел в тупик. Осип Мандельштам и Т.С. Элиот знали: нет искусства без человека (мастера) и Бога (Творца), и именно поэтому, так восхищенно "завидовали" Данту. Цветаева тоже никогда не изменяла гуманизму и метафизике. Соблазнялась, заблуждалась, но не грешила против жизни и духа. Её герои-поэты всегда живые и всегда в каком-то пусть и не в очень близком соседстве с Богом, хотя она изображала их очень по-своему, творчески субъсктивно, но при этом без романтической идеализации, как и без стилизации под свою философию, что было свойственно Мережковскому или Андрею Белому. Вместе с тем, она многим обязана символистам, но была свободнее, честнее, убедительнее, чем они, и не подгоняла своих героев под какую-то схему. Но едва ли Цветаева была чем-то обязана Шестову (как это почему-то думает Бродский). Шестов — антиисторичен, мифотворцом не был, и Цветаевой нечему было у него учиться.

Может быть, самые проницательные и живые мифы Цветаевой — семейные, хотя бы о как будто чуждом ей историке Иловайском или же о любимых, близких — о суровой и иногда несправедливой матери, о малопонятном отце — ученом. Избегая шаблонов, многословия и не ломая синтаксиса (как это иногда делал Белый), Цветаева выковала свой особый сжатый стиль эссе, что долго не удавалось русским писателям (кроме ценимого ею Г.П. Федотова, добивавшегося краткости и

выразительности латыни). А цветаевская стилистика скорее германская, с четкими философическими формулировками, но под ее пером — вполне естественная для русской речи.

Перепечатанные изд-вом "Лев" Страницы воспоминаний дочери Цветаевой — Ариадны Сергеевны (Али) Эфрон кое-кого разочаруют. Но надо понять, в каких условиях они написаны да еще после многих лет ГУЛАГа и ссылки. Вместе с тем, А.С. хотелось что-то рассказать о матери новым ее читателям и поклонникам, а этого нельзя было сделать без многих умолчаний и (что хуже) без едва ли искренних суждений. Она пишет: участие отца в Белой армии, эмиграция его и матери, были роковой ошибкой, но ведь роковым было и возвращение, окончившееся гибелью Сергея Эфрона, самоубийством матери и арестом самой Ариадны Сергеевны. Многим ее словам не веришь, и все же ей очень удались рассказы о романтической театральной богеме, окружавшей М. И. в голодные годы, о вечере Блока, о встречах с Белым. Шестилетняя Аля навсегда запомнила нравственный завет матери (при посещении ненавистного ей цирка): "Слушай и помни: всякий, кто смеется над бедой другого — дурак и негодяй; чаще всего и то, и другое (...)", даже когда в цирке "человек теряет штаны — это не смешно; когда человека бьют по лицу — это подло; такой смех — грех". Явно: Цветаева имела в виду и себя. Её вызовы всему вопреки, ее постоянные "черезчуры", ее страсти и пристрастия часто вызывали смех. издевательства — и ей, усталой, так трудно было держаться и драться: - Пол свист глупца и мещанина смех (Роландов Рог).

тол свист глупца и мещанина смех (Роланоов Рог).

Обе книги несомненно заинтересуют широкие круги читателей.

Юрий Иваск

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. ЮЖНЫЙ КРЕСТ. Антология бразильской поэзии. 1978. 123 стр.

Мы всегда должны быть благодарны переводчикам с малоизвестных языков — это дает нам возможность заглянуть в другую поэзию, а значит, и в душу другого народа. Валерий Перелешин перевел много стихотворных произведений с китайского, персидского и испанского. Теперь вышел его перевод с португальского — указанная выше антология. Переводам отдельных избранных стихотворений 53-х авторов предпослано предисловие переводчика, в котором дана краткая

история развития бразильской поэзии, начиная со второй половины 17-го века. Вначале поэтические произведения писались португальцами, переехавшими в Бразилию, но со второй половины 18-го и в 19-м веке появляются многочисленные поэты уже бразильцы по рождению. В конце 19-го и в 20-м веке бразильская поэзия проходит те же стадии романтизма, парнасского классицизма, символизма и модернизма, как и поэзия европейских стран. В. Перелешин отмечает большую благозвучность бразильской дикции по сравнению с португальской и введение новых слов на основе туземной индейской и ввезенной африканской лексики.

По мере возможности В. Перелешин отразил в своем выборе переводов вышеуказанные стадии развития. Книга разделена на две части: в первой даны образцы классической поэзии, во многих случаях ввиде сонетов, а во второй примеры характерных бразильских "тровас" — четверостиший, дающих законченную мысль или эмоцию — почти ввиде афоризма.

В. Перелешин — опытный переводчик и посему надо полагать, что русский читатель ознакомится с верной картиной бразильской лирики.

Впечатление, производимое на русского читателя первой частью антологии, сходно с общим впечатлением от поэзии Брюсова. Повидимому, и по времени, и по направлениям влияния западной европейской поэзии совпали в своем действии и на востоке, в России, и на дальнем западе — в Бразилии. Надо выделить остроумное и грациозное стихотворение Бруно Сеабра — диалог между сельской красавицей и её незадачливым поклонником. Прибавим, что в числе переведенных авторов есть и император-изгнанник Педро 2-й. Его ностальгическое стихотворение о присланной ему "горсти родной земли" может быть очень близко нам.

Борис Нарциссов

КНИГИ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ В РОССИИ

Уже несколько лет, большая часть молодежи, в Советском Союзе, приходит ко Христу "... дойдя до грани человеческого отчаяния, заглянув в бездну душевной гибели...", пишут они нам. Ощущение присутствия Христа, является для них единственным возможным путем жизни.

Проникнутые этим светом и образом человека, созданного по образу Божьему, они стараются выработать истинно христианское мировоззрение, которое могло бы одухотворить современную культуру и создать обновленную этику. Церковь, в том состоянии, в котором ее допускает советская власть, не может им помочь. Вот почему они собираются независимо от церковной иерархии для толкования Евангельского учения, чтобы укорениться в творческой Традиции, ответить на вызовы современности, и прежде всего советской действительности, лишенной духовности. Возникают многочисленные кружки, "свободные семинары", в которых изучаются "проблемы религиозного возрождения в России".

Но власть строго карает эти еще очень слабые попытки. "Международная Декларация Прав Человека" и "Хельсинкские Соглашения" нарушены. Власть безбожия ожесточается более, чем когда-либо. За эти месяцы аресты умножились: еще совсем недавно арестовали отца Глеба Якунина, Татьяну Великанову, Льва Регельсона, отца Дмитрия Дудко. На-днях нам сообщили, что основатели свободного семинара в Москве, Александр Огородников и Владимир Порещ, будут судимы не за тунеядство или воровство, как это до сих пор делалось, а за "антисоветскую пропаганду", и "организацию групп". Таким образом им угрожает приговор к 5-10-ти годам концлагеря и тюрьмы. Мы еще раз настаиваем: их арестовали, и их будут судить только за то, что они мыслят как христиане! Ко всем бесчисленным мученикам за веру Христову, пострадавшим от советской власти, теперь будут причислены новые исповедники.

Мы обращаемся ко всем, и прежде всего к христианам, которым дорога свобода духа и человеческого достоинства. Не достаточно только протестовать, нужна и конкретная помощь! Конкретная помощь для этих свидетелей Духа в России — посылка книг.

Помогите нам посылать книги в Советский Союз: всякая книга, говорящая о смысле жизни, цели существования, струя чистого воздуха для тех, которых отравляет отжившая идеология. Нам пишут: "Духовный голод в России бесконечен и мы призываем вас многократно умножить ваши усилия для смягчения книжного голода. Необходимо организовать широкий сбор книг для посылки в Россию, или средств для их приобретения. Книга, полученная с Запада, для нас бесценный подарок... Главным образом молодежь интересуется религиозной литературой, Евангелием, Библией, которых почти невозможно достать в Советском Союзе." Каждая книга, переправленная туда, будет переписана, размножена, будет передаваться из рук в руки и станет живым словом. Тут дело не в политике, а в жизни или смерти души, что так же важно, как жизнь или смерть тела. Помогите нам посылать книги этим верующим, ищущим людям. Они у нас этого просят, как голодный — куска хлеба!

Деньги можно посылать на почтовый текущий счет РСХД: ACER CCP 15 37359 Y PARIS или чеком, выписывая чек на имя: ACER-RUSSIE посылая чек по следующему адресу: ACER-AIDE CROYANTS, 91, rue Olivier de Serres. 75015 Paris. France.

Подписали: Jean-Claude BARREAU — писатель, Jean et Hélène BASTAIRE — писатель, Jean-Marie BENOIST — профессор в collège de France, Jacques et Laurence de BOURBON-BUSSET — писатель, Jean BRUN — профессор, писатель, Christian CHABANIS — писатель, Olivier CLEMENT — писатель, R.P. Yves CONGAR — богослов, R.P. Jacques DESSEAUX — богослов, Jean-Maris DOMENACH — писатель, Pierre EMMANUEL — поэт, член французской Академии, René HABACHI — писатель, Tania HEIDSIECK — пианистка, Jean LACROIX — писатель, членкор. Института, Marcel LEGAU — писатель, Jacques MADAULE — писатель, Corinne MARION — профессор, писатель, Roger et René MASSIP — писатель, Gabriel MATZNEFF — писатель, Jacques NANTET — писатель, France QUÉRÉ — писатель, Pierre RICHÉ — профессор, Philippe SOLLERS — писатель.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

В 1980 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена на 1980 год 24 доллара (за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов Во Франции — 25 франков

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня